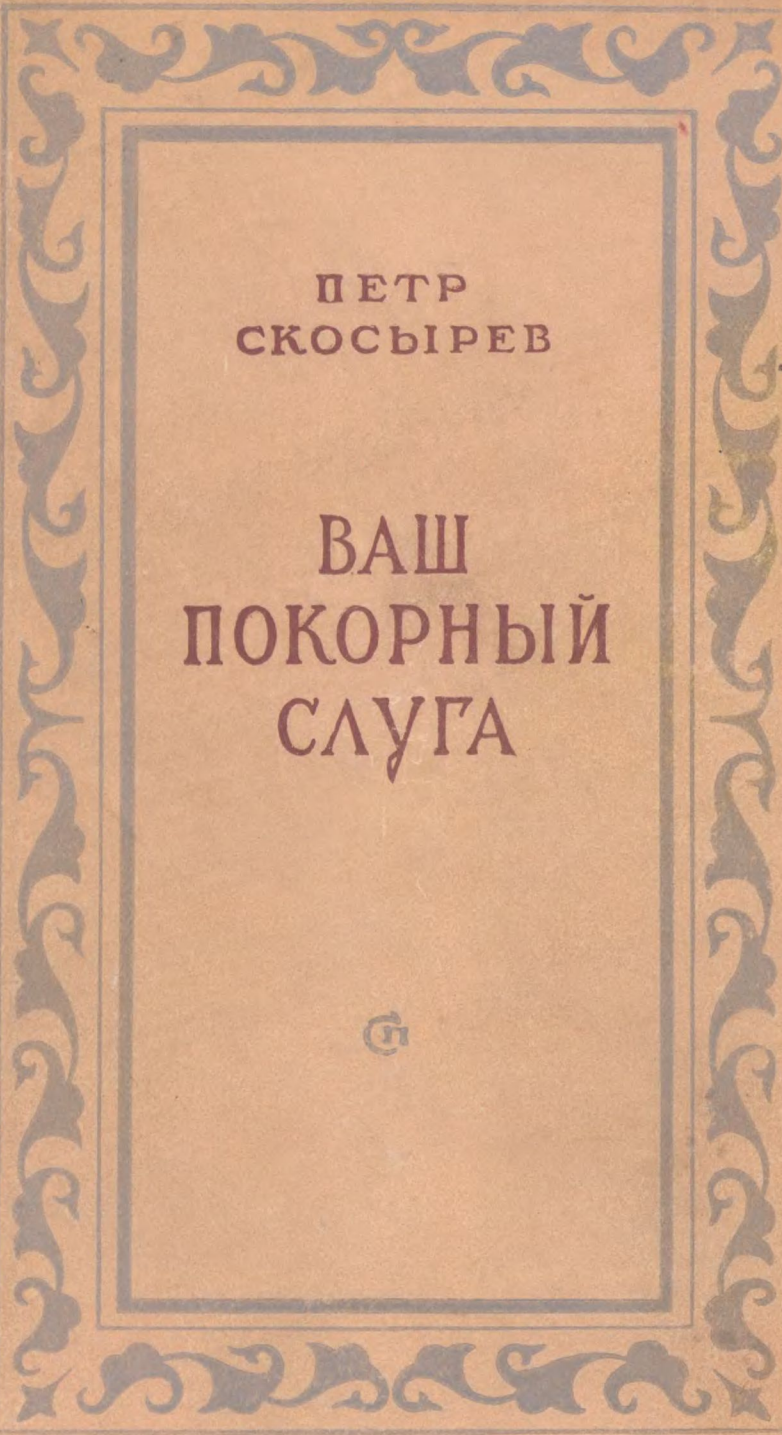




ПЕТР
СКОСЫРЕВ

ВАШ
ПОКОРНЫЙ
СЛУГА

Г

ПЕТР СКОСЫРЕВ

ВАШ
ПОКОРНЫЙ
СЛУГА



ПОВЕСТЬ-СКАЗКА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва 1955

ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУГА
или
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА,
НАЗВАВШЕГОСЯ ТАКИМ ИМЕНЕМ

Для влюбленных в мире нет,
Думал я, ни зол, ни бед.
Я в огонь любви вошел.
Вышел, вижу — стал я сед.

Из народной песни

Поживиться ищут баи. Нищий голодом томим.
Он в реке утонет — лодку не пошлет никто за ним.
Кеминэ я. С голодухи все внутри — огонь и дым.
Все пройдет. Один на месте сгнивший заживо бедняк.

Из стихов Кеминэ

Я, Махтум-Кули, говорю:

— Всякий раз,
Если в сердце любовь родилась,
Каплют слезы из глаз.
И когда я смеюсь, шуткой радуя вас,
Знайте, смех мой во мне в этот час
Истекает слезами. . .

Из Махтум-Кули

ОТ АВТОРА

Эта книга — попытка на основе устных народных анекдотов-сказок воссоздать образ замечательного человека старой Туркмении, поэта-сатирика, заступника бедных, широко известного под именем Кеминэ.

Умер Кеминэ около ста лет назад. Настоящее имя его забыто. Кеминэ — это прозвище, псевдоним, который поэт взял себе сам. Слово «кеминэ» в переводе означает: униженный, бедный, низкий, припадающий к стопам. Письма к стоящим по положению выше проситель обычно подписывал так: «Писал кеминэ и м я р е к», что соответствует русскому: «Припадаю к стопам», или: «Остаюсь покорнейшим вашим слугой».

«Вашим покорнейшим слугой» назвался поэт, чье имя забыто, но чей псевдоним в туркменском ауле стал нарицательным именем для каждого человека с острым языком и независимым характером, умеющего веселить общество умной и язвительной шуткой.

Память о Кеминэ живет в народе. Жизнь его, полная противоречий, стала предметом народного творчества. Вокруг имени Кеминэ создан целый фольклор. К сожалению, до нас не дошло ни одного документа о жизни поэта. С точностью не известны даже даты его рождения и смерти. Единственными неоспоримыми материалами о Кеминэ являются его песни и стихи,

записанные уже в наше время, и то не полностью. Эти стихи, равно как и многочисленные анекдоты о Кеминэ, и положены мною в основу этой книги, которая ни в какой мере не является ни историческим романом, ни романом-биографией. И для того и для другого ей не хватает подлинной достоверности описываемых в ней событий. Это повесть-сказка, или, может быть, повесть-поэма о человеке, заставившем меня особенно остро и горячо полюбить страну, в которой он жил, своеобразие ее истории и богатство ее культуры.

Я не считал нужным что-либо замалчивать или подправлять в облике поэта, стремясь воссоздать его таким, каким он запечатлелся в памяти народа, — вечно беспокойным, противоречивым, податливым на минутные вспышки страсти и вместе с тем никогда не забывающим своей кровной связи с самыми широкими, наименее имущими слоями населения туркменского аула.

Я не задавался целью во всем следовать традиции устного туркменского романа, но своеобразие материала порой диктовало мне те или иные приемы и обороты речи, обычные в устном народном творчестве.

П. Скосырев



К Н И Г А П Е Р В А Я

1

Осел кричал так долго, что даже дети, привычные ко всяким ночным крикам, высовывали из-под одеял головы и толкали спящих матерей в спины:

— Мама, милая мама, о чем он плачет?

Женщины, истомившиеся за день, дергали плечами, пытаясь отмахнуться от помехи, прервавшей сладкий покой их сна, и шептали:

— Спать, спать! Может быть, он наелся колючек и теперь у него болит живот... Спите!

И, уже снова засыпая, иная из них добавляла:

— Или, может быть, он соскучился по своей маме.

Дети, улыбаясь, затихали, а осел трубил и трубил до самого рассвета, и был его рев как бы насмешкой над спящими.

Ночь, недвижно и грузно лежавшая на песках, постепенно делалась прозрачной. Кибитки из черных стали рыжими, звезды холодели, а осел, затихая на мгновение, снова поднимал голову и исходил криком. Казалось, он сам, как утренняя звезда Уч-иолдыз, скоро станет прозрачным и бледным от изнеможения.

Только когда в стороне реки, скрытой дальностью расстояния, показался краешек медно-красного солнца, осел умолк. Он вытянул шею и, отфыркиваясь, стал трогать мягкими губами все, что было перед его

ногами, — кусочек пересохшего конского навоза, клочок шерсти, комок глины, сухой камышовый стебелек.

Тишина, спустившаяся на аул вместе с рассветом, была так внезапна, что в ближайших кибитках встретились разом все и несколько женщин с любопытством выставили в двери красные трубы своих головных уборов.

Как и полагали они, это кричал чужой осел. Он стоял возле ямы и жевал листок кандыма¹, росшего на гребне сухого холма. У подножия холма был раскинут шатер, и чьи-то голые ноги торчали из входного отверстия. Черные от загара, они покоились одна на другой, наслаждаясь теплом, каким заливали их первые лучи.

Лежащий в шатре спал. Кожу широких ступней его, как кожу слона, изрезали глубокие борозды, забитые песком и солью прикаспийских пустынь. Он не пошевелился, когда осел, упав на бок, копытом задел его за большой палец, торчащий прямо в небо, словно он кому-то указывал на разгорающееся солнце.

Это был исхудавший, усталый человек, который заснул тотчас же, лишь воткнул в землю кол и накиннул на него кусок черной кошмы. Он даже не удосужился спутать ослу ноги и выбрать для ночлега место попримятнее. В яме возле холма третью ночь валяласьдохлая собака, и шакалы уже вытащили из ее нутра все кишки. Надо думать, и осел-то кричал всю ночь потому, что ему не было покоя от этих вонючих хищных трусов.

— Это старый человек, и пришел он издалека, — объявила своему мужу красавица Халли. — Может быть, ты позовешь его выпить с нами чаю?

Халли была уже не так молода — ей исполнилось двадцать два года, — но плечи ее были круты, а голос сладок и чист, и лучше ее не пела ни одна даже самая молоденькая девушка в ауле. Правда, ночь выпала холодная, а сердце Ораз-бая уже много лет как разучилось согревать сердце женщины, тоскующее ночами, так что эти свои слова Халли произнесла хрипло, не успев прокашляться.

¹ К а н д ы м — кустарник, часто встречающийся в пустынях Средней Азии.

Ораз подумал — она его дразнит. Он тоже хрипел постоянно от груза лет и жира, сдавивших его грудь.

— С каких это пор, — прохрипел он с раздражением, — ты научилась указывать, кого я должен приглашать к себе в кибитку? — И тут же, распаясь, высказал все, что накипело в сердце. — Ты что-то долго задержалась вчера у колодца. Что ты делала там? В ауле немало бездельников, охочих напиться из чужого источника. Знаем мы, как вы там беседуете с соседками. Смотри, как бы тебе не охрипнуть навсегда.

Халли умолкла, а бай Ораз, потягиваясь и зевая, стал подниматься.

2

Между тем спавший в шатре проснулся тоже.

Было похоже, что он приехал издалека. Одежду его покрывала придорожная белая пыль. Серая тряпка окутывала сожженный зноем лоб, и борода от пыли стала совсем белой — настоящая борода аксакала¹, хотя он был еще далеко не стар, этот исхудавший, усталый путник. Приоткрыв глаза, он увидел, как жирный Ораз с трудом вскарабкался на лошадь и поехал тихим шагом к холму, за которым паслись бараны. Потом и другие мужчины из соседних кибиток уехали каждый в ту сторону, куда им надо было ехать. А там, крихтя и кашляя, поплелись за топливом старухи. Ребята уже расставили бабки возле сухой канавы и громко кричали, прыгая и хохоча.

День в ауле начинался своим порядком.

Бедный туркменский аул. Ни куста в нем, ни дерева. Кибитки черными кучами громоздятся на сухом песке. Дым очагов поднимается к небу, как сто столбов. Лают псы. Девушка тащит от колодца пузатые кувшины. Руки девушки дрожат. Но она скорее прольет ручьи слез, чем уронит на песок хоть каплю из кувшина. Ветер дует со всех сторон. Висит круглое солнце. В кибитках плачут младенцы и вполголоса поют женщины.

¹ Аксакал — почтенный старик.

Проводив мужа, запела и Халли свою любимую песню:

Как лимон, сады желты,
С веток падают листья.
Сердце бедное мое,
На шипы упало ты.

Это была хорошая песня Ляля. Каждая девушка знает ее наизусть с малых лет; только голос у Халли сегодня звучал хрипло, и слушать ее было неприятно.

Лежавший в шатре выставил в отверстие волосатое ухо и недовольно покачал головой. И уже он хотел опять отдаться бездумному покою утреннего сна, как Халли, прокашлявшись, запела снова, и теперь ее голос звучал незамутненно. Казалось, это поет другая женщина, может быть дочка или невестка той, что пела только что.

Золотой бы сливой стать,
В блюде милого лежать.
Стать бы алым кушаком,
Стан твой тонкий обвивать.

Странник проворно вскочил и сделал несколько шагов по направлению к кибитке. Заветренное лицо его расплылось в улыбку, глаза заблестели, борода превесело заходила из стороны в сторону.

Я — гвоздика, сей меня, —

пела Халли, ударяя пальцами себя по горлу, отчего звуки песни прерывались и дрожали, как дрожит сердце, когда его сжимает тоска или счастье любви.

Ветер, ты развей меня.
Я — рабыня, ты — султан.
Поцелуй — убей меня.

Странник быстрыми шажками подбежал к ослу. Завидя хозяина, осел вскочил на ноги разом, как кошка, и уши распластал по шее.

— Кх, кх! — ласково сказал странник, с легкостью перекидывая ногу через спину животного. — Кх!

И осел, покорный этому извечному понуканию погонщиков, весело засеменил к аулу.

Не доезжая десяти шагов до кибитки, в которой

все еще пела Халли, ставшая — если верить голосу — снова иссохшей старухой, странник остановил осла, сказав ему: «Чёш, чёш». Потом задрал бороду к небу, как это делают муллы в Хиве, выкрикивая слова молитвы, и заголосил пронзительно и звонко:

— Ей, люди добрые, нет ли у вас в кибитках мертвецов, которые нуждаются в погребении? Или все старые люди у вас предпочитают петь хриплыми головами, нежели думать о близкой могиле? Ей, люди добрые!

Кибитка Ораза стояла на самом краю аула, и на крик неизвестного путника мало кто обратил внимание. Но Халли услышала его.

Не откидывая цыновки, она оборвала песню и закричала, хрипя и кашляя:

— Это что за поганый шакал, который радуется, если здоровый делается больным, а больной — мертвым? Проходи, проходи, пока собаки хозяина не учуяли тебя.

И, покорная женскому любопытству, она выглянула из кибитки.

Ах, какая это была красавица! Лицо у нее как луна. Руки как молодые ветки абрикоса весной. В одной руке она держала маленькое веретено, в другой — клубок шерсти. Она забыла о платке, которым всякая туркменская женщина привыкла закрывать добрую половину красоты своего лица, и странник видел ее губы, губы! . . Ни один великий поэт так и не нашел подходящего сравнения, чтобы рассказать о красоте женских губ.

«Твои уста сладки, как золотая чаша, полная сахару», — поют бахши¹. Дураки бахши! Кто из них видел золото живое и влажное, как губы красавицы?

Откинув цыновку, Халли с любопытством осмотрела старого осла, грязную чалму и рваную шубу странника и удивилась веселью, которое светилось в его глазах. Высунувшись, она кашлянула, и голос ее был звонок, когда она спросила, хмурясь:

— Чего тебе взбрело в голову, старик, криком пугать добрых людей?

¹ Бахши — народные певцы и музыканты Туркмении.

Странник оставил осла и приблизился к кибитке.

— Вот как врет пословица, — заговорил он бойкой скороговоркой, — которая велит: бойся мужчины с тонким голосом, женщины с голосом хриплым и грубым, худого знахаря и толстого муллы. Я испугался песни твоей бабушки и хотел проехать мимо; и тогда бы не увидел ни твоих глаз, ни гранатов, которым, если я осмелюсь судить, тесно под этой рубашкой. Закрой, красавица, рот платком, потому что только со стариками прилично разговаривать женщине, открыв лицо, и вынеси мне воды, да и моему другу тоже. Мы оба заморились и не пили весь вчерашний день.

Он обеими ладонями потрогал бороду, белую от пыли, как придорожная соль. В редких волосах ее запутался стебелек степного цветка, за ночь ставшего сухим и блеклым.

Халли зарделась и скрылась в кибитке.

— Много ли нужно тебе воды, любитель мертвецов? — закричала она оттуда, снова охрипнув. — Если ты пьешь так же много, как болтаешь глупостей, не хватит самого большого кувшина, чтобы напоить тебя.

— Добрая матушка, — закричал в ответ странник, — попроси жену своего почтенного сына вынести мне хоть одну чашку воды, а осла я напою у колодца.

Через минуту Халли появилась опять. Шерсть и веретено она оставила в кибитке. Руки ее сжимали большую глиняную миску. Рот теперь был прикрыт платком, и концы его свешивались ей на грудь.

Странник с жадностью прильнул к миске и вытянул всю воду, не отрываясь. При этом он громко фыркал и хлюпал, то и дело отстраняя пальцами намокшие усы.

Халли забавляла эта его жадность.

— Вот и не ошиблась я, — сказала она, — назвав тебя шакалом. Только шакалы, наглотавшись мертвечины, пьют с такой жадностью, как ты.

Голос ее при этом то делался хриплым и сухим, то звучал сладостью и чистотой.

Странник понял свою ошибку. Никакой старухи не было. Сквозь входное отверстие он успел рассмотреть внутреннее убранство кибитки. На земле были постла-

ны толстые ковры. Гора шелковых одеял вздымалась справа. На левой стороне громоздились сундуки, кованые медью. На сундуках и на ковре в беспорядке были расставлены бухарские и кашгарские чашки и чайники, которые купить можно только в Хиве. Это было жилище бая, и красавица, стоящая перед ним, — жена бая.

От удачного слова теперь зависело многое.

— Ты не ошиблась, — не задумываясь, откликнулся странник, — назвав меня шакалом. Я — мулла, а мулла всегда радуется, когда люди умирают. Если здоровый стал больным, зовут табиба¹, а когда больной умер, зовут муллу. Мулла и шакал — это одно и то же. Только муллу приходится звать, а шакал является сам.

— Ну, ты-то явился сам, бездельник, — засмеялась женщина, принимая от него миску. — Вместо того чтоб накликать мертвецов, ты бы лучше накликал моему мужу сына или хотя бы дочку. Только не вздумай называться муллою. Ораз боится бога и не терпит обманщиков. Если тебе нечего есть, оставайся у нас, помогай мне таскать воду и саксаул для очага. Эта стряпня оставит меня без рук.

И она посмотрела на свои тонкие руки, покрытые мозолями и царапинами.

В это время со стороны холмов, за которыми паслись бараны, показался всадник. Он то и дело подгонял коня плеткой, и конь то шел вскачь, то снова спокойной рысью.

Это был Ораз-бай. Завидев его, Халли оттолкнула странника и закричала на весь аул, старательно прикрывая рот платком:

— Вон едет мой муж Еген-Ораз! Мне некогда болтать с тобой. Ты напился и иди своей дорогой. Солнце уже высоко, а обед не готов. Иди, иди, старый бездельник!

Вот какое жестокое сердце у красавицы Халли! Только как бы она не пожалела, что гонит гостя. Она небось подумала: это нищий-попрошайка, каких много шляется по степи; вот он сейчас испугается бая, сядет

¹ Т а б и б — знахарь, доктор.

на осла и отправится от аула к аулу, выклянчивая хлеб и обглоданные кости.

Но странник не испугался. Он потер грудь в том месте, куда ударила его Халли, и легко вспрыгнул на осла.

Впрочем, прежде чем Халли скрылась в кибитке, он еще успел прокричать ей:

— Не думай, что пословицы всегда врут. Есть и такие, что говорят правду. Кого за один грош пригласил петь, того за тысячу грошей не заставишь умолкнуть. От одного твоего удара у меня заболело сердце. Чем же теперь ты станешь лечить его, красавица?

Халли уже задернула цыновку; странник тронул осла палочкой и сказал:

— Кх-кх!

В

— Не твой ли это осел мешал спать мне всю ночь? — спросил Еген-Ораз, когда странник, поравнявшись с ним, почтительно приложил ладонь к животу и наклонил голову.

Ораз был на редкость жирен и некрасив. На незнакомца, склонившего перед ним голову, он смотрел с явной злостью. В руке сжимал кнут. Но веселому страннику это не портило настроения.

— Мой, — ответил он радостно. — Это очень умное животное. Если он завидит кибитку богатого и щедрого бая, он кричит во все горло, беспокоясь, как бы я по недоглядке не проехал мимо.

Так и есть, этот оборванец считал себя гостем Еген-Ораза. Вытянуть бы его кнутом поперек спины — небось перестал бы улыбаться. Но как отказать прохожему человеку в гостеприимстве? И Ораз решил обратиться к разговору в шутку.

— Действительно, умный осел, — сказал он. — Жена подала тебе напиток, и он сразу умолк. Куда же вы спешите теперь? Вероятно, торопитесь, пока не стало жарко, пересечь холмы и к полудню быть у колодца Дорт-Кую.

— Ну нет, мой осел еще умнее, чем ты думаешь, —

возразил странник — До колодца пять часов езды. Ведь он только осел, а не скаковая лошадь. Нельзя трогаться в путь раньше, чем солнце завалится за пески. А примолк он потому, что не может опомниться от удивления. Твоя жена сказала, будто еще ни один путник не нашел в твоей кибитке укрытия от дневного зноя и от ночной стужи, будь он почтенных лет, как я, или будь он даже мулла.

Еген-Ораз был настоящий текинец¹ из рода Аманза. Это правда, что он был скуп и зол не меньше, чем богат; но разве хорошо будет, если болтливый оборванец начнет брехать по аулам, будто бай Ораз пожалел для проезжего гостя свежей лепешки и чашки горячей похлебки?

— Верно, что он не больше как осел, — повторил бай, стараясь быть ласковее, — раз поверил словам женщины. Как собака ни щенись, ей все не стать дойной; сколько женщина ни клянись, ей все не сказать правды.

С этими словами он заставил странника повернуть обратно и поехал с ним рядом.

Солнце, раскаляясь с каждой минутой, висело над песками. Ящерицы, слышав людей, притворялись неживыми, точно они были просто сучками саксаула. Конь Ораз-бая косился на рваную шубу странника и даже попытался снова перейти на рысь, но Ораз из вежливости сдержал его, стараясь не перегонять гостя.

Дорогой он рассказал, что вот сегодня вечером, как только солнечные лучи станут длинными, он поедет в город помолиться в мечети. Их аул бедный и далеко закинут в пески. Всякий раз, как вспомнишь о душе, приходится ездить в город. И это очень невыгодно: в пути и есть хочется больше, и платье пылится. То ли дело иметь своего муллу.

— Это верно, — согласился странник, — ни в одном ауле нет своего муллы. Когда я расстался с муллою Пиром, у которого был помощником, и направился сюда, по всем попутным аулам текинцы и иомуды¹

¹ Текинцы и иомуды — названия племен гуркменского народа.

просили меня остаться у них. Только осел мой не любит долго оставаться на одном месте. Его не соблазняют ни сладкий корм, ни красивая женщина. Ему дела нет, что я не молод и с охотой бы пожил в кибитке, в которой теплые одеяла и щедрый хозяин.

Ораз-бай недоверчиво оглядел незваного гостя.

На худых плечах странника висела заплатанная шуба. Она была так стара, что, казалось, рассыплется, если тронешь ее пальцем. Нет, никогда мулла или его помощник не станет ходить в такой шубе из одних заплат и ездить на осле, у которого все ребра наружу. Это попрошайка и брехун. Он набился в гости, и теперь его надо вводить в кибитку, сажать с собой рядом на ковер и угощать шурпой¹ и чалом².

Ораз-бай рассердился. Не надо ему никаких гостей. Он сейчас скажет бродяге такое, что тот и сам не захочет войти в кибитку.

— Слушай-ка ты, мулла, — сказал он, посмеиваясь. — Ты назвал себя старым человеком. Но, сдается, твоя одежда много старше хозяина. Скажи — сколько лет твоей шубе?

Так вот он просто взял и назвал своего гостя нищим. Всякий текинец, будь он даже последний бедняк, после таких слов непременно ударит осла палкой и погонит его от насмешника прочь. Кто потерпит, чтоб его корили нищетой? Но это какой-то оголтелый бродяга. Может быть, он даже и не текинец? Он ничуть не обиделся, попридержал осла и вскинул на бая свои смеющиеся глаза.

— Прости меня, бай, — сказал он деловито, — я не расслышал, — ты о какой заплате спрашиваешь? — И добавил наставительно: — Надо точнее указывать. Спроси я, сколько лет твоему сыну, — ты как ответишь? Спросишь: «Которому? Говори точней!» И мне знать надо, ты о которой заплате спрашиваешь...

При этих словах Ораз-бай сердито фыркнул и ударил коня плеткой. Вот оно как: уж покатила дурная

¹ Шурпа — похлебка, суп.

² Чал — особым образом приготовленное кислое верблюжье молоко.

слава про его беду. Разболтала Халли, не утерпела. И чтоб переменить разговор, он спросил, когда они подъехали к аулу и Халли выбежала им навстречу:

— Так ты и вправду мулла? И ты знаешь великого Пира, слухами о котором полны пески от Ташауза до Мерва и Серахса?

— Как не знать! — с готовностью ответил странник. — Другой такой скотины я не встречал еще, хотя прожил, как видишь, немало — и любая молодая женщина уже может спокойно оставаться со мной в одной кибитке, ничего не опасаясь.

— «Скотина»?! — вскричал бай оторопело и даже вскинул обе руки ладонями вверх, как будто на него сейчас станет обрушиваться небо. — Ты смеешь называть великого муллу из рода Махтум скотиной? Да разве ты не знаешь, что всякого, кто осмеливается ругать муллу, наказывает пророк: у нечестивца пухнет живот, и он погибает?

— Конечно, скотина, — повторил странник, слезая с осла. — Я сказал это ему три раза, а живот мой, как видишь, не вспух и не вспухнет до тех пор, пока я не набью его шурпой и пловом, над приготовлением которых хлопочет сейчас твоя добрая хозяйка.

«Верно, он и вправду мулла, — стал размышлять Еген-Ораз, — раз он спокойно не может слышать про муллу Пира. Он так разволновался, что даже жену мою схватил за руку и держит, не отпуская. Муллы, что сварливые женщины, только и знают, что поносят друг друга. Конечно, он мулла. И надо его упросить остаться в ауле. Тогда незачем гонять коня в город».

— Неужели ты в глаза назвал знаменитого Пира скотиной и остался невредим? — повторил он, смотря на гостя с уважением.

— Мало, что назвал, — ответил странник. — После того как мы с ним расстались, со мной ничего не случилось, а у Пира вспух не только живот. Все лицо его покрылось синяками и шишками...

И тут у Еген-Ораза открылись глаза. Проезжий иомуд из дальнего аула рассказывал, будто в песках видели муллу Пира всего в шишках и синяках. «Кто это тебя так?» — спросили муллу. И он ответил, что на

него напали разбойники. Но чопаны говорили другое: не колтоманы избили муллу, а его же служка, тоже мулла, не поделивший с ним поживы за чтение погребальной молитвы. Пир остался у колодца залечивать раны, а служка взгромоздился на осла и отправился неизвестно куда. И еще говорили чопаны, что у этого муллы на плечах была рваная шуба, а язык у него острый, точно он сам Кеминэ.

— Как твое имя? — вскричал Еген-Ораз, озаренный догадкой.

— На что тебе мое имя? — ответил странник. — Ты, вероятно, хочешь знать, как меня зовут?

— Ну, как зовут тебя? — повторил бай.

— Кеминэ.

Вот оно что! Молла¹ Кеминэ! Это прозвище слышала и Халли. Да и кто не слышал про шахира², песни которого и острые словечки катились по пескам из края в край, как перекасти-поле. Только Халли не думала, что он такой некрасивый и немолодой.

— Входи, входи, почтенный и знаменитый молла Кеминэ, — наклоняясь и пропуская гостя вперед, сказал Еген-Ораз. — Входи в мой дом, который отныне будет и твоим домом. Благословен час, в который аллах направил шаги твоего осла к моей кибитке. А ты, жена, подбавь масла в плов да не забудь засыпать корма ослу, пока мы станем коротать часы досуга за беседой с моим другом Кеминэ.

Говоря так, Ораз-бай широко распахнул цыновку, скрывавшую вход в кибитку. На ковер упало солнце. И следом за солнцем не торопясь ступил на ковер и знаменитый шахир, имени которого не знал никто, а чье прозвище было Кеминэ, что на языке персидских грамотеев значит — ваш покорный слуга.

¹ Мулла — священнослужитель; в обычае жителей песков было при обращении к каждому образованному, грамотному человеку добавлять приставку мслла (мулла), если даже этот образованный человек и не был священнослужителем. В тексте книги мы слово священнослужитель будем писать через «у» — мулла, обращение же к образованному человеку обозначим как молла, хотя это одно и то же слово.

² Шахир — поэт.

Вся страна песков, что лежит между двумя морями, Копет-Дагскими горами и большой рекой, улыбалась, когда слышала прозвище великого шахира.

И салыры, и воинственные иомуды, и земледельцы-чаудуры, что от близости к хивинцам сами стали как бы хивинцами, и эрсари, и гоклены, в чьей семье родился царь всех поэтов, великий Махтум-Кули, и особенно текэ — сыновья Утамыша и Тохтамыша, и сыновья третьего, младшего брата — Ялтамыша, который носил когда-то желтый халат — сары и потомков которого теперь полупрезрительно полуудивленно именуют желтушниками — сарыками¹, — все туркмены без различия племен, родов, колен и аулов пели песни, сложенные веселым странником, и хохоча повторяли шутки, на которые Кеминэ был не меньший мастер, чем на слова любви в своих песнях.

Чего только не рассказывали про Кеминэ прохожие люди после вечерней еды.

Это Кеминэ менял двух своих сыновей, сыновей муллы и шахира, на одного разбойника, простого колтомана, потому что оказалось, что молодые грамотеи, научившись хитрости арабских букв, не умели оседлать даже самой смирной кобылы.

Когда хивинский хан Мадамин, соединившись с салырами, напал на Серахс, все текинцы обратились в бегство и увели в пески стада, жен и собак, а сыновья Кеминэ чуть не попали в плен из-за своей учности.

Кеминэ тот раз сел на осла и смело врезался в полчища хивинцев, уже отрезавших ему путь отступления на Мерв. Двух кур, в которых заключалось все его богатство, он гнал впереди себя, помахивая прутиком, а следом за ним шагали, путаясь в полах своих длинных халатов, его высокоумные сыновья, только недавно вернувшиеся из города.

— Ей, хан Мадамин, — кричал он при этом пронзи-

¹ Сарыки, салыры, иомуды, чаудуры, эрсари, гоклены, текэ — туркменские племена, говорившие на одном языке, но часто враждовавшие между собой.

тельно, — не нужны ли тебе два высокоумных муллы, которые знают всю азбуку от первой буквы и до последней и могут читать любую молитву с начала до конца и с конца к началу стоя, сидя, лежа и даже во сне? Меняю их обоих на одного из твоих неграмотных головорезов. Торопись, пока не поздно, не то мои муллы сейчас умрут от страха, а твои колтоманы все равно сдохнут в наших песках от жажды.

Крича так, он помахивал прутиком, как саблей, подгоняя осла и постегивая кур, привязанных к ослу шерстяной ниткой.

Всякому текинцу на месте Кеминэ, попадись он в руки Мадамина, грозила бы смерть или плен, который хуже смерти. Но недаром Кеминэ считался умнейшим из текэ, и только односельчане его, Токлы-яшеноки¹, считали его болтуном и вздорным бродяжкой. Так, впрочем, бывает с каждым умным человеком, который смеется чаще, чем его соседи думают. Кеминэ знал, что для того, чтобы победить, надо удивить врага. Ведь перед ним были хивинцы. А в Хиве самый завалящий мулла не в меньшем почете, чем даже бий² или казираис³.

— Торопитесь, пока мои молодые муллы не померли со страха! — кричал шахир, прутom тыкая осла в шею. — Кх-кх!

Осел прибавил шагu. Куры, обезумев, попытались взлететь, но, удержанные ниткой, только били крыльями. Кеминэ двигался сквозь строй удивленных врагов, как глашатай на базаре движется сквозь толпу дайхан⁴. Первые ряды хивинцев попятились, наступая на пальцы стоящим позади. Те с руганью теснились в стороны.

И тут еще осел облегчился прямо на тех, кто попытался обойти всадника сзади. Куры в предсмертной тоске хрипели: «Кх-кх!» Этот хрип осел принял за

¹ Токлы-яшеноки — наименование одного из текинских родов.

² Бий — судья.

³ Казираис — высший духовный сановник Хивинского ханства.

⁴ Дайхан — крестьянин.

крик понукания и пошел вскачь. Хивинцы расступились, образуя улицу, и по ней, прижимая к груди Коран и Хафтиаку, торопясь за отцом, прошагали два бледных грамотея с подгибающимися от страха коленями.

Молодых мулл не посмел тронуть ни один хивинский аскер.

5

Чего-чего только не рассказывали про Кеминэ!

После бегства от хивинских полчищ он поселился вместе с прочими Токлы-яшеноками в ауле, раскинутом подле Мерва. Все имущество его — две курицы — погибло во время переселения. И пропажей этих кур односельчане не переставали корить шахира, который был для них только чудачком и пересмешником и совсем не походил на почтенного человека.

На новом месте Кеминэ оставался таким же бедняком, как и в Серахсе. У него даже не было настоящей кибитки. Жилищем ему служил шатер. Три кола он воткнул в землю и перевязал наверху ремнем. На треногу накинул кусок кошмы, а другой кусок разостлал внутри. Так и жил он там, предоставленный самому себе, а сыновья его ушли в другие аулы зарабатывать хлеб отпеванием покойников и чтением молитв на свадьбах.

Порой этим делом промышлял и Кеминэ. Он не любил молитв. Но молитву по покойнику прочитать мог. Только особой корысти ему не выходило. Он прочтет молитву, а родственники покойника принесут в благодарность всего две пригоршни кукурузы или кувшин с верблюжьим чалом, а то и просто придут ни с чем.

— Ты ведь свой, Кеминэ, — скажут. — Ты подождешь. А то дадим мы тебе телку или барана, а ты и их утеряешь, как утерял кур или как утерял жену.

И сказавший так спешил поскорей убраться, так как Кеминэ никому не прощал дурного слова про свою жену, бывшую посмешищем всего аула.

— Ты ведь свой, — говорили Токлы-яшеноки и

даже песен Кеминэ не пели и никогда не смеялись его шуткам, называя их пустой брехней.

И Кеминэ не обижался.

Но вот случилось раз, что жеребенок, разбрыкавшись, ударил копытом мать самого богатого в ауле бая Кара-Юсупа, особенно не любившего Кеминэ за его насмешки. Старушка и не охнула; только подняла руку ко лбу — и тут же умерла.

Жена Кеминэ в тот день была в ауле. Веселая, прибежала она к мужу.

— Ну, Кеминэ, твое счастье — померла старуха Джеамаль-Едже. Уж и пальцы ей связали и могилу роют; сейчас сыновья Кара-Юсупа за тобой придут. Ты торгуйся и меньше чем на корову не соглашайся. Мы ее сведем на базар, и ты подаришь мне целый кусок хивинского шелка. Я сошью себе такую рубашку, что сама Кара-Юсупиха от зависти лопнет.

Вот такая женщина была молодая жена Кеминэ. Но только она сказала правду. Не успела она и рта закрыть, как сам Кара-Юсуп явился за шахиром. В шатер его туловище не лезло. Он остался снаружи и лишь голову просунул во входное отверстие.

— Иди скорей, Кеминэ, читай молитву, — сказал он, отдуваясь. — Я тебе весной, как будут овцы котиться, целого барашка пришлю. Ты ведь свой. Ты пождешь.

И так случилось, что в другом ауле тоже, разбрыкавшись, жеребенок лягнул в тот же день какую-то старуху. И она умерла, не успев охнуть. Собрались ее хоронить, а грамотея, который бы знал молитвы, не было. Внук убитой вскочил на коня, прихватил запасную лошадь и поскакал за Кеминэ.

Кара-Юсуп как раз в это время сулил поэту барашка. Прискакавший оттолкнул бая и вошел в шатер.

— Молла Кеминэ, едем, — сказал он. — Вот тебе лошадь, едем скорей хоронить бабушку.

Кеминэ поднялся и вскочил на лошадь.

Кара-Юсуп оторопело схватил его за стремя.

— Кеминэ, куда же ты? А покойница Едже?

Кеминэ тронул коня. Он отъехал от Кара-Юсупа на

расстояние брошенной палки, обернулся и закричал своим пронзительным голосом:

— Так ведь покойница Джеамаль-Едже своя, она подождет!

И вернулся только через три дня, так как соседний аул лежал от Токлы-яшеноков за целые сутки пути.

Джеамаль-Едже, понятно, столько времени ждать не стала. Ее положили в могилу без единого слова молитвы, и как она устроилась на том свете, не знает никто.

Кеминэ всегда умел найти слово кстати. Скажет — и отвечать нечего; точно плешивый, стоит тот, кто связался с ним, и торопится скорей убраться подброду. А потом расскажет вечером соседу или, ложась спать, жене о том, что было, и непременно добавит:

— Вот ведь черт какой этот Кеминэ! Всегда за ним последнее слово остается.

Последнее слово всегда доставалось Кеминэ, это верно. Вот только богатства доставались другим.

Последнее слово и на этот раз осталось за ним. Вернувшись с похорон чужой старухи, Кеминэ привез новую песню и пропел ее в тот же вечер возле кибитки Кара-Юсупа:

«Бай-ага...» — прошу, и просьба воска белого нежней.
Вот я стал игрушкой баев, стал песчинкой среди степей.
Скажешь баю: «Дай мне плату», — дрогнет брюхом у дверей.
Блудник подл, и подл грабитель. Только бай наш всех подлей.
Все пройдет; один на месте всеми брошенный бедняк.

6

Еген-Ораз вспомнил и еще много рассказов про Кеминэ, как только узнал, кто этот бродяга, которого он чуть не прогнал.

Он слышал и о том, что Кеминэ складывает песни, которые поют бахиши на каждом тое¹. Песни эти пришлись по душе всем молодым туркменам, и сколько

¹ То й — празднество, свадьба.

женщин по ночам просят своих мужей, когда те, покинув кибитку, в которой шел пир, возвращаются к родному очагу:

— Скажи, какую новую песню пел сегодня бахши! Наверное, Кеминэ сложил опять что-нибудь про красавицу Огуль-бек или про свою бедность.

Все женщины песков были без ума от этого веселого грамотея, и Еген-Ораз поразился про себя, что вот теперь Кеминэ уже не молодой человек — и его можно безбоязненно оставлять с женой в кибитке.

Сам Ораз-бай песен не любил и не знал. Песни нужны только тем, у кого жар в крови не остыл и ждет выхода если не в объятиях, так в песнях. А в том-то и беда, что кровь бая даже ночью оставалась холодной, как арычная вода.

Он с благодарностью взглянул на Халли. Какая деловитая у него жена! Ей не до баловства. Она не станет приставать ночью: скажи да скажи, какую новую песню пел бахши. Она под стать своему богатому мужу, рукодельница и хозяйка Халли! Как ловко она стряпает и собирает посуду! Все-то у ней всегда чисто и на месте. Даром что бранится часто и на язык остра.

А Халли тем временем собрала со сковороды куски жареного мяса, положила их в котел и залила водой. И пока вода закипала, покрываясь золотом расплавленного жира, она твердила про себя песню, какую Кеминэ (ей-то думалось прежде, что он статен и красив, этот искусный шахир Кеминэ) сложил в честь жестокой красавицы Огуль-бек:

В степи тюльпаном расцвела,
На небе месяцем всплыла,
Ты, повелительница звезд,
Цветов царица, Огуль-бек.

Цветы степей, пески пустынь
Плны блаженства, если ты
По ним ступаешь. Что цветы!
Ты на мои глаза ступи,
Цветов царица, Огуль-бек.

Под старость часто видишь сны...

Двадцать раз она твердила про себя раньше эту строку:

Под старость часто видишь сны...

и никогда не думала, что поэт такой немолодой, некрасивый и бедный.

В бороде у него серебряные нити, и щеки провалились. Какой он усталый и худой!

Под старость часто видишь сны.
А молодость, как дни весны,
Быстра, легка — и нет ее.
Вот что запомни, Огуль-бек...

Халли тоже часто навещают сны. То ей снится черный баран, который едет верхом на верблюде, то старая мать Эне. А то — и это чаще всего — ей снится молодой Шукур-Арык, чопан из ее родного аула. Он берет тюйдук¹, подносит его к губам, и из дудки текут слезы. Они бегут обильной струей на песок, заливают аул — и озеро слез поднимается до самых веток развесистой джиды², что росла возле колодца. Их целое озеро. И Халли тонет в этом озере.

Приснившаяся мне во сне,
Свой взор останови на мне,
И улыбнется Кеминэ,
Тобой пленившись, Огуль-бек...

Халли просыпалась, и валик ее изголовья в такие ночи бывал мокр от слез.

— Поторопись, Халли! — крикнул Еген-Ораз. — Наш гость проголодался, а ты медлишь, как ленивый осел!

Халли поспешно накрошила в котел моркови и вдруг, всплеснув руками, крикнула:

— Еген-Ораз, смотри, этот бездельник Сары-Мамед снова скачет по холмам на твоём гнедом. Вон он, вон, смотри! Уже скрылся!

Еген-Ораз тотчас же выкатился из кибитки. А Халли только того и надо. Она живо подскочила к Ке-

¹ Т ю й д у к — камышовая дудка, распространенный музыкальный инструмент в Туркмении.

² Д ж и д а — дерево, отдаленно напоминающее иву.

минэ, опустилась перед ним на корточки и дернула гостя за бороду.

— «Приснившаяся мне во сне», — заговорила она с внезапной злостью. — «...повелительница звезд... останови на мне свой взор...». Что тебе может сниться по ночам, старому обманщику! Вареная морковка или теплое молочко? Безрогий баран... .

И видя, что Кеминэ только смеется, она дернула плечами, встала и проговорила все так же злобно, с дрожью слез в голосе:

— Почтенный молла Кеминэ, а правда ли, что у тебя жена гуляющая?

Вот так злючка Халли! Да ее сейчас убьет шахир за такие слова!

Только это действительно была правда. Первая жена Кеминэ, подарившая ему двух сыновей, умерла еще до нашествия Мадамин-хана. В Мерве поэт взял себе другую жену. Но ведь ему никогда не везло в жизни. Старая жена была терпеливой, простой и ласковой женщиной. А новая с первых дней стала попрекать Кеминэ нищетой и бездельем.

— Ишак, — кричала она, — нечего тебе дрыхнуть до полудня! Кара-Юсупу надо перетаскать дрова. Иди помоги его старухе. Джеамаль-Едже обещала подарить мне за то кусок вышивки на обшлага.

— Я вышитых обшлагов не пошу, — отвечал Кеминэ спокойно. — Если хочешь, иди таскай саксаул сама.

Или она бранилась так. Упершись руками в бедра, расставив ноги, она кричала, охрипнув от злости:

— Ишак беззубый, жабьи кишки! Пес! Иль ты оглох? Глашатай звал на той! Кривой Мухамед ставит новую кибитку для своего пашенка с его девчонкой. Ступай, спой им свою песню, если другого не умеешь, благо дураки распускают слюни от удовольствия и готовы за твои побасенки отдать целое стадо баранов. Баранов ты угонишь на базар и купишь мне у краснобородого фарса или у хивинца хоть одну серебряную плетенку на голову. А то нельзя глаз никуда показать в этой старой миске.

И она кулаком била себя по берыку¹, который был не хуже, чем головной убор любой другой женщины аула.

И еще по-разному орала и бранилась с утра до ночи эта новая жена-франтиха.

Кеминэ не вступал с ней в пререкания. Это была глупая бабенка, у которой на уме только наряды и сплетни. Каждый вечер она убегала к соседкам и там трещала, как лягушка, ругая мужа. Потом один раз она не вернулась домой и, объявившись наутро, сказала, что ночь провела у бобылки, тетки Сонна, у которой болел живот. Всю ночь она должна была ломать хворост и поддерживать огонь, чтоб больная не озябла. Кеминэ выслушал ее объяснения молча. А через день она снова не пришла ночевать. Кеминэ смолчал и на этот раз. А через неделю на ее берыке появилась новая серебряная плетенка. Он опять не стал бить ее, только спросил, посмеиваясь, сладко ли ей было ломать хворост, за который она получила эту побрякушку. И потом добавил, что он давно собирался украсить своего осла какой-нибудь вещичкой попрigлядней.

— Это честный осел, — сказал он, — он всю жизнь таскает меня на себе и не получил за это еще ни одного подарка.

И Кеминэ даже попытался сорвать плетенку с головы жены. Но она подняла такой рев, что пришлось отступить.

— Носи, носи, пожалуйста, — сказал тогда Кеминэ, — я вижу, моему ослу ни в чем не сравняться с тобой. Он катает только одного меня и никогда не кричит так громко.

А потом жена пропала совсем. Ее видели то в одном ауле, то в другом. Она стала хорошо одеваться и никогда не навещала мужа.

Скоро по пескам прокатился слух, что новая жена у Кеминэ гулящая.

Когда Халли дрогнувшим от непонятной злости голосом задала свой вопрос, Кеминэ только усмехнулся и не ответил ничего.

¹ Б е р ы к — головной убор туркменской женщины.

Халли подумала, что он не расслышал.

— Да ты и глухой к тому же! — закричала она, издаваясь. И приблизила свои губы к уху поэта. — Почтенный молла Кеминэ! — прокричала она во все горло, как кричат глухому. — Это правда, что твоя жена только и знает, что гулять? Она бродит из аула в аул и заходит во все кибитки без исключения?

Но тут где-то вблизи раздалось сопенье Ораз-бая. Отдуваясь и кряхтя, он спешил к обеду. Халли умолкла, повернулась спиной к поэту и низко наклонилась над очагом.

Кеминэ не захотел, чтобы последнее слово осталось за этой озорной красавицей.

— Насчет жены — это все враки, — сказал он. — Если бы она заходила во все кибитки, она бы забрела и ко мне когда-нибудь. А этого никогда не бывает.

Когда Еген-Ораз вошел в кибитку, лицо у Халли было красное. Огонь в очаге ярко пылал, и шурпа, подернутая жиром, стояла на ковре, исходя паром.

— Старательная жена, — сказал бай, довольно ухмыляясь. — Как ты раздула очаг! То-то и сама раскраснелась от натуги. А только насчет коня ты ошиблась. Это вовсе не мой конь был. . .

И, наломав и накрошив в миску хлеба, они принялись за еду.

7

За едой Еген-Ораз пристально, насколько это разрешали приличия, рассматривал гостя. Нет, пожалуй, не о таком мулле мечтал он для своего аула. Уж очень реденькая у него борода и торчит вперед, как морковь. Такие люди с редкими бородами — хитрые люди, кесе. Надо остерегаться верить их словам. И, как часто бывает с теми, кто и сам охотно идет на обман, Еген-Ораз вдруг перестал верить страннику. Назвался Кеминэ, а наверное, не больше как попрошайка. Никогда никто не видел, чтобы муллы были такие нищие и худые. И чавкает за едой, как ишак. Может быть, он такой же Кеминэ, как Ораз-бай — иранский шах. Да и совсем он не текэ — иомуд, или чаудур, или даже скорей

всего сарык. Следовало бы разузнать о его племени и роде. Однако приличие не позволяло так, ни с того ни с сего, спросить: «А какого ты рода?» Хоть бы зашел кто — через третьего человека и разговор проще.

Не успели они покончить с горячей шурпой и приняться за второе блюдо, как, на счастье хозяина, в отверстие кибитки просунулась шапка, а за ней и борода аульного кузнеца Чее-Мурада.

— Ассалям-алейкум, Еген-Ораз.

— Алейкум-вассалям, Мурад. Входи, входи, гостем будешь.

В другой бы день Еген-Ораз не очень был рад такому гостю. Уж очень большую силу взял в ауле кузнец. Кажется, не велика хитрость бить молотком по железу, ковать ножи да наконечники для пик. Первые пособники колтоманов эти кузнецы. А любой проезжий туркмен, когда спросит: «Какой это аул?» — никогда не услышит в ответ, что это аул Еген-Ораза, сейчас все назовут кузнеца: «Это Чее-Мурадов аул». А что у него есть? Кузня да пара ишаков. Когда женил сына, так соседи ему натаскали и баранов, и риса, и джугары¹ для лепешек. Без их помощи не накормить бы ему гостей, которых набралась целая орда со всех аулов. И что в нем нашли люди? Как мух от дерма, не отгонишь от кузни. Там духота, стук, жар. От одного гомона голову ломит. А дайхане сидят. Заказчик привезет починить пару серпов, а двадцать человек за ним припрутся. Им бы только глотки драть и брехню Мурадову слушать. Чего только Мурад не врет — и про Хиву, и про урсов², и о том, что замышляют фарсы. И про Надир-шаха, и будто текинцам жилось легче, когда не знали они ни глиняных домов, ни огородов, ни того, как растут пшеница или хлопок. «Тогда все были равны — бай ли, кузнец, или простой чопан. Сел на коня, нож отточил, назвался сердаром³ — и скачи до самых гор, бей фарсов или иомудов, сарыков».

¹ Джугара — злак, родственник кукурузе.

² Урс — русский.

³ Сердар — военачальник.

Не по душе был Ораз-баю беспокойный кузнец.

Но сейчас Чее-Мурад был желанный гость. Еген-Ораз даже не назвал его Чее-Мурадом. Он сказал просто:

— Входи, входи, Мурад, гостем будешь.

И подвинулся, чтоб дать кузнецу место.

Вот так сидят они трое на ковре: бай, кузнец и шахир Кеминэ. Чашка жареного мяса перед ними. Свежий чурек¹ рядом с чашкой. В степи жара, зной, а в кибитке прохладно. Мухи жужжат; мясо сладко и жирно. Молодец Халли; такой стряпухе цены нет. Каждый кусочек в миске — как драгоценный камень. Его тронешь пальцем, а жир льется ручьем, как пот из-под тюбетейки в жаркий день. И вышивать Халли мастерица. У кого еще такая тюбетейка, как у Еген-Ораза? Кто взглянет на нее, всякий скажет, хоть он и не видел Халли ни разу: «А и хороша, бай Ораз, у тебя жена. Ей цены нет».

Так сидят они втроем на ковре. Разговор неторопливо течет.

— Мне сдается, Мурад, будто ты охромел на одну ногу. Уж не лошадь ли ударила тебя копытом?

— Это я молоток уронил, Еген-Ораз, — отвечает кузнец хмуро.

— Ай, ай, как можно ронять молоток на ногу!

— Как котятся овцы, Еген-Ораз? — спрашивает кузнец, чтоб переменить разговор.

— Не могу пожаловаться, Мурад. Вот только чопаны мошенники. Овца принесет двойняшку — они одного прирежут, сожрут и клянутся, будто год во рту мясного не держали. Такие разбойники! За ними не досмотришь — готовы последнюю рубаху с тебя снять.

И чтоб в свою очередь переменить разговор, бай спрашивает:

— Ну, а много ли ты серпов наковал?

— Серпов? — повторяет Чее-Мурад и голос его наливается внезапной злостью. — Ты это верно сказал: серпов — чтоб они провалились сквозь землю! Надо ножи ковать, а текинцы приносят меч и говорят: «Чее-

¹ Чурек — хлеб.

Мурад, выкуй из этого меча серп», — точно они не текинцы больше, а сарты или урсы. Насреддин-шах персидский у гокленов всех баранов отнял, а мы сидим. Нечего было ждать, когда придет шах, надо было самим отобрать у этих трусов гокленов стада и кибитки. А мы серпы куем. . .

Чее-Мурад только случайно родился кузнецом. Его отец ковал железо, вот и он стал ковать железо. Но что из того! Чее-Мурад мечтал быть сердаром, батыром¹, о котором бахши потом столетия будут петь песни и рассказывать сказки, — вот он кто, Чее-Мурад. Хромой Тимур тоже родился не во дворце. Он сел на коня и с копьем в руках добыл себе дворец и половину мира. У Чее-Мурада железное в груди сердце. Был Чингиз, был хитроумный Бабур. Века не миновало, как Надир-шах что буря прошел над вселенной. «Придет час, — думал кузнец, — и новый эмир, Чее-Мурад, как кровавый дождь, прольется над миром. Небось забудут тогда, что он ковал серпы да лопаты».

— Текинцы забыли славу отцов, — говорит он хмуро. — Они сеют ячмень и джугару, стригут баранов и возят шерсть на базары в Мерв и в Хиву. Тимур не стриг баранов и не сидел над мешками с шерстью.

Ораз-бай не любил разговоров про войну. У него сердце плохое, сыновей нет. Одно разоренье эта война. Не все текицам воевать, не мало и мирных дел. Но он отвечает вежливо:

— Да какая польза нам от аламанов²? Джигиты привозят пленниц, чужеземных девчонок, которые своими хитрыми ласками лишают нас силы. А шах в отместку разоряет наши пастбища. Правильно говорит пословица: у шаха подмышка просторна, а палка длинна. . . Ну, а как, большая нога не мешает твоей работе?

Разговор течет. Еще Чее-Мурад спросит про то, про другое. Еген-Ораз ответит. Кеминэ тем временем ест не переставая. Вот прожорливый ишак! . . Мухи жужжат. Солнце пятнами лежит на ковре. Пот каплет на ха-

¹ Б а т ы р — богатырь.

² А л а м а н — военно-разбойничий набег.

латы. Разговор неторопливый, вежливый. Это ведь не хивинцы собрались на базаре: «Ах ты, да что ты! Скажи пожалуйста!» — и руками всплескивают и хохочут. Это три почтенных туркмена беседуют за едой, три текинца. Разговор бежит, как арык по степи, неспешно, с прохладцей. Так и подобает бежать текинской беседе. Но вот наконец он достиг желанного поворота.

— Кого принимаешь ты как гостя в своей кибитке? — обратился кузнец к хозяину.

— Гостя моего зовут Кеминэ, — ответил Еген-Ораз. Он хотел добавить, что Кеминэ — мулла и теперь станет жить в их ауле, но воздержался.

— Это очень вежливый человек, — сказал кузнец, усмехаясь, — если он назвался таким именем. Только это не текинское слово. Персы, когда хотят быть вежливыми и пишут один другому письма, называют себя таким словом. Но гость твой не перс? Да он текинец ли? — И кузнец подозрительно смотрит на шахира.

— Я не успел еще спросить, — ответил Еген-Ораз и тоже взглянул на Кеминэ.

Разговор бежал по канавке, которую проложили беседы отцов. Теперь никто не сочтет неприличным, если кузнец обратится с прямым вопросом к гостю: «Ты текэ?» Гость ответит: «Текэ». Тут уж может приступить к расспросам и хозяин. «Какой текэ?» Гость ответит: «Утамыш» или «Тохтамыш», смотря по тому, какого он колена. Хозяин спросит снова: «Какой утамыш?» — «Бахши», — ответит гость. «Какой бахши?» — «Закрчетык». — «Какой?»

И так, перебирая род от пращура к прадеду, от прадеда к деду, вопрос упрется в отца, и лицо гостя станет ясным — родственник он или нет и какое место может занять в сердце хозяина.

Кеминэ, сложив пальцы горсткой, выудил из миски последний кусок мяса и, отправив его в рот, весь предался удовольствию еды.

Ну, что ж ты, кузнец, задавай вопрос.

Но воинственный молотобоец провел рукой по бороде, утер усы и, забыв, что сидит не в кузне и Еген-Ораз не заказчик, принесший в починку заржавленный серп, внезапно улыбнулся и начал свою брехню.

— Слышал я, — сказал он, — будто есть один текэ из Серахса, который тоже назвался таким словом — Кеминэ. Только он, должно быть, моложе твоего гостя. Он мастер слагать песни и знает грамоту не хуже, чем чертов мулла Пир из Ташауза. А складней его не врет никто на всей земле, населенной туркменами. Он очень бедный человек, даже не имеет осла и ходит пешком из аула в аул. А жена у него гулящая.

Халли в это время собирала посуду. Она взяла тяжелую миску в обе руки и, когда услышала, что кузнец сказал: «А жена у него гулящая», — словно невзначай толкнула Кеминэ локтем.

— Вот идет он однажды, — продолжал кузнец, — в далекий аул к чаудурам и по дороге встречает иомуда, который славился по всей Хиве как самый великий брехун.

«Далеко ль, текэ, путь держишь?» — спрашивает иомуд.

«До первого котла с похлебкой», — смеется Кеминэ.

«Заработать думаешь?»

«Я всякую работу делать умею», — отвечает Кеминэ.

А он, и верно, всякую работу умел. Он — настоящий текэ.

Тут иомуд стал над ним измываться:

«А я так никогда не работаю и сыт бываю. Я — самый великий брехун среди иомудов. Я так соврать могу, что для меня целого барана зарежут. Идем вместе».

А брехун этот был великий трус, как и все иомуды, и рад был идти не один.

«Ну, идем».

Только завидели аул вдали, брехун расхвастался.

«Чаудуры, говорит, народ любопытный и жадный. Если их не удивишь, они не то что мяса, чаю не дадут. Как мы придем в аул, ты молчи. Я за двоих врать стану. Увидишь, как они нас угостят».

«Ладно».

Пришли в аул. Заходят в кибитку, а там целая орда

чаудуров; спорят, кричат чего-то. Они ведь канительщики! Начнут спор — две ночи пройдет, прежде чем разберутся, что к чему. И самим надоест ругаться, а кончить не могут. Увидели незнакомых людей, обрадовались.

«Садитесь, путники, гостями будете. Да расскажите нам о таком, чего мы никогда не видели. Целого барана для вас зарежем. Только не врите!»

Кеминэ многое мог рассказать, да иомуд велел ему молчать.

«Что ж вам, чаудуры, рассказать? — начал брехун. — Главный рассказчик из нас вот этот текинец, — указал он на Кеминэ, — только у него язык отнялся от удивления».

«А что такое?» — спрашивают чаудуры.

«Да как же, — говорит брехун, — подходим мы к аулу и вдруг слышим — на нас с неба собака лает; морду свесила с облака и брешет. Никогда мы такого не встречали».

Тут чаудуры шуметь стали.

«А ну вас, говорят, мы думали, это почтенные люди пришли, расскажут нам про то, что на свете делается, а вы брехуны. Как может собака на небо попасть? Уходите скорей!»

И стали кричать, что с того им, чаудурам, плохо и живется: иомуды брешут на них перед хивинцами, хан верит и вымещает на чаудурах.

Так они расшумелись, стали старые обиды вспоминать, что брехун совсем струхнул, как бы палкой по голове не угостили. Смотрит на Кеминэ, помощи у него глазами ищет, а сам думает: «Связался я с этим текинцем, у него и оружия-то нет. Нас сейчас бить станут. Что делать будем? Другой бы помог как, а он только чай пьет и глазами хлопает».

Чаудуры уж, и верно, за ножи схватились. Они такой народ, чаудуры.

Быть бы брехуну в великой беде, но только Кеминэ чаю напился, спокойно закурил чилим и говорит:

«И верно, смешной случай. Когда мы подходили к аулу, собачка беленькая бежала впереди. А тут большой орел налетел, схватил собаку за шиворот и уволок

в небо. Когда мы в аул вошли, слышим, лает она в его когтях, отбивается».

Чаудуры закивали головами, стали просить прощения у гостей:

«Простите нас, что не поверили сразу. Верно, верно, одолели нас орлы, всех ягнят перетаскали из стада. Теперь, видать, за собак принялись».

Вот, когда, наевшись досыта, пошли брехун и Кеминэ дальше, Кеминэ и говорит:

«Ты, иомуд, следующий раз на небо не забирайся, очень трудно тебя оттуда языком на землю стаскивать...»

Кончив рассказ, кузнец вдруг разразился таким хохотом, что вся кибитка затряслась, будто в степи поднялся ураган.

— Как он иомуда отделал! — хохотал Чее-Мурад. — Только что с иомудами канителиться! Дать бы ему молотком по голове — и все.

«Смотри, как бы тебе кто голову не снес, болтун бесстыжий», — подумал Еген-Ораз. И чтобы навести разговор снова на тропку, с которой увел его Чее-Мурад, бай сказал просто и грубо:

— Когда ты так хорошо знаешь того, другого Кеминэ, взгляни-ка на моего гостя и скажи: кто он?

После этих слов Кеминэ, если он думал оставаться в кибитке Еген-Ораза, сам должен был рассеять сомнения хозяина. Но он молчал. И неприкрытая злость светила в его глазах. О, мы еще не знаем, каким может быть злым этот веселый бродяга! Он смотрел на кузнеца, как тигр, и думал: «Вот такие дурни и разжигают вражду между туркменами: чаудуры — канительщики, иомуды — трусы; а хивинские торговцы, ханские приспешники тем временем заняли лучшие туркменские земли. Одна судьба у иомудов, и текэ, и чаудуров, а Чее-Мурады тащат нас в разные стороны...»

— Это ничего, когда брехун залезает на небо, — прервал наконец Кеминэ свое молчание, — с неба его достать нетрудно. Хуже, когда дурень тащит нас за собой в яму глупости, тут уж никакой Кеминэ не поможет.

Чее-Мурад — глуп, глуп, а понял, в кого метил этот захожий оборванец. Он живо обернулся, чтоб проучить дерзкого попрошайку, но не успел раскрыть и рта, как в степи раздался шум, залаяли собаки, закричали ребята. Слышно было конское ржание и многоголосый говор толпы, который нарастал с каждой минутой. Мимо кибитки пробежал кто-то, крича истошно: «Мурад! Мурад!» — и тень от бегущего, проникнув в кибитку, упала на ковер, метнулась с ковра на бороду кузнеца, перебежала на плечо старика и исчезла. Что там такое? К конскому ржанию и лаю собак теперь прибавился крик ослов и рев верблюдов. Заплакала какая-то женщина, запищал младенец. Уж не война ли это ворвалась в аул со своими шумами и криками? Уж не нагрянул ли шах со своими аскерами? Вот сейчас раздастся крик нападения: «Орра, орра!» Застонут раненые, и захрипят в предсмертной тоске убитые.

— Да ведь это, никак, сердар Клыч возвращается с отрядом из аламана, — встрепнулся кузнец. — Спасибо тебе, Еген-Ораз, за угощение. Мой брат Юсуп с ними. Надо посмотреть, чего они там добыли.

И, прихрамывая, Чее-Мурад покинул кибитку.

Поднялся и Еген-Ораз.

После того как странник оборвал кузнеца, у него не осталось сомнений, что это и есть настоящий Кеминэ. Поэтому и голос бая звучал почтительно, когда он говорил:

— Если ты устал, молла Кеминэ, отдохни, а я пойду посмотрю.

И, тяжело дыша, он, переваливаясь, поспешил за кузнецом.

Кеминэ некоторое время оставался один; потом в кибитку вбежала Халли.

Лицо ее было возбуждено. Глаза расширились. Грудь вздымалась высоко.

— Мулла, — заговорила она быстро, — если ты так любишь женскую красоту, что даже во сне видишь эту уродку Огуль-бек, чего ж ты сидишь тут? Сердар Клыч возвращается из аламана с богатой добычей. Две фарсидские женщины привязаны к его коню. А на втором коне труп его убитого друга Юсупа. Ступай скорей! Ты

же любишь мертвецов. Ты прочтешь похоронную молитву, и, может быть, Клыч в награду подарит тебе пленницу, у которой на руках младенец. Она станет обоих вас, беззубых, кормить соской и покусить твою старость.

Она все еще продолжала издеваться над поэтом, насмешница Халли. Точно он обидел ее чем-нибудь или обманул. А ведь он ничего не обещал ей и ничего не просил. . .

— Ты слышала, негодница, — обратился к ней Кеминэ вместо ответа, — что бывает с теми, кто обидел муллу. Гляди, как бы и с тобой не случилось того же.

И, оставив кибитку, он поспешил к отряду, который сделал привал в ауле Чее-Мурада, прежде чем двинуться дальше со своей добычей, отбитой у жителей загорных долин.

9

Кеминэ немало перевидал красавиц на своем веку.

Никогда он не имел ничего, и даже осел, который ночью не давал спать Халли, не принадлежал ему. Это был заемный осел, как говорят в песках. Его уступил поэту сосед, не нуждавшийся больше в услугах старого животного.

Кеминэ — бедняк. И весь свет знает, что Кеминэ бедняк, что нет у него ни белой кибитки, ни арабского коня, ни баранов, ни верблюдов, ни персидских или хивинских монет, зашитых в кушаке, ни красивой тюбетейки, расшитой шелковыми нитками.

Но кто поймет женщин? Они плачут и кричат, когда их покупает жених, у которого пузо готово лопнуть от сокровищ, зашитых в кушаке, а сундуки в кибитке сами собой открываются под напором спрятанных богатств. А стоит какому-нибудь безродному бахши сыграть нехитрую навои¹ или спеть глупую песенку про длинные косы, которые, как змеи, ползут за красави-

¹ Н а в о и — популярные песни, названные так по имени их автора, знаменитого поэта Навои, бывшего также и музыкантом.

цей, — и сколько ночей подряд жена будет под разными предложениями говорить мужу: «Не надо», — и отодвигаться, а засыпая, видеть во сне такую чепуху, что узнай муж — и не быть бы такой жене в живых.

Женщины любили бедного шахира Кеминэ. Когда он смеялся, женщины закрывали рты платком. Он пел им песни про цветы, соловьев и звезды, и они открывали ему свою красоту.

Но и Кеминэ не оставался перед ними в долгу.

Стоило ему услышать, что на самом краю земли — в Ташаузе или даже на Атреке — объявилась в кибитке какого-либо бая женщина невиданной красоты, проданная баю в жены, он бросал свой дом и плелся, гонимый страстью, по пескам в Ташауз или на Атрек.

Придя в аул, где была красавица, он жил там как гость, или назывался муллою и жил как мулла, или занимался батраком к хозяину красавицы и жил как батрак. И всегда он находил случай, чтобы усладить свое сердце красотой, лишившей его покоя, и после того бахши разносили по аулам новую песню, сложенную поэтом. Надо думать, и в кибитку Еген-Ораза привел его слух о красавице Халли; только его не предупредили, что она такая насмешница.

Но и о Халли готов был позабыть поэт, когда увидел пленниц, привязанных к лошади сердара Клыча, — особенно ту, у груди которой плакал ребенок. Лицо у ней было белое, как соль, глаза печальные и влажные, как у молодой верблюдицы, длинные косы змеями ползли по спине и кольцами свивались на рыжем крупе коня. А когда младенец заплакал, испуганный криком толпы, и, чтобы успокоить его, пленница приложила его к груди, — от сияния, распространяемого ее белым телом, у Кеминэ пошли радужные круги в глазах, точно он смотрел на солнце.

Еще во время еды в кибитке Еген-Ораза он стал подбирать слова новой песни о красоте Халли:

Самых лучших когда соберу мастериц,
Не выткать им этих блестящих ресниц.
Увидев глаза твои, падаю ниц.
И кто тебя создал такую?

Теперь, взглянув на пленницу, он продолжил песню. Пленная красавица ничем не напоминала жену бая. Тем не менее песня продолжалась все та же. Слова сами просились на ум и заставляли торопливо биться сердце.

Влюбленный, на ветке сижу, соловей,
Молчу, пораженный красою твоей.
Укрытый цветами расцветших ветвей,
Над розою алой тоскую, —

твердил он, не слыша и не видя того, что творилось вокруг.

А кругом стоял шум, похожий на тот, что бывает лишь на праздничном базаре в Хиве. Всадники, двое суток не слезавшие с коней, разминали затекшие ноги и снимали с лошадей кладь, чтобы дать им отдохнуть перед последним томительным переходом через безводные пески. Зачуяв близкую воду колодца, кони ржали. Рыжие и белые псы, окружив толпу пленников, от которых пахло незнакомыми запахами, лаяли, крутя головами и поджимая хвосты. Дайхане победнее укоризненно качали головами. Молодые парни, полные тайной зависти, с независимым видом беседовали с аламанщиками, красными от загара, серыми от пыли и худыми от недоеданий и битв. Одна из пленниц продолжала горько плакать. И кричал что-то на незнакомом языке пленный, одетый в чудную одежду, какую носят чужеземцы — фаранги¹. Он совсем не казался испуганным, этот странный человек с волосами увядшей травы и с кожаным сундучком в руках. Казалось, он даже улыбался. Во всяком случае он кривил губы и морщил нос, крича что-то в лицо сердару, который один молчал, положив руку на труп лучшего своего друга Юсупа.

— Фаранг, — говорили между собой дайхане, столпившиеся вокруг пленных, — это фаранг.

— Фаранг? Или инглиз?²

— Или урс?

¹ Ф а р а н г — общее название для всех европейских народов.

² И н г л и з — англичанин.

— Конечно, фаранг!

Но вот Чее-Мурад растолкал толпу и с тяжелым молотком в руках стал против пленного. Дайхане умолкли. Кузнец был страшен. Казалось, сейчас он с одного маху разmozжит пленнику голову. И в этом не было бы ничего удивительного. Лучший друг сердара, храбрый Юсуп, который был мертв, доводился кузнецу двоюродным братом, хотя и имел кибитку в другом ауле.

— Это ты, проклятый кабан, убил моего брата? — закричал кузнец по-фарсидски, обращаясь к пленному, и дернул сердара за рукав. — Сердар Клыч, отдай его мне, и я сделаю подкову из его поганой головы.

Услыхав фарсидскую речь, пленный замолчал. Но только на мгновение. Он живо повернулся в сторону кузнеца и ответил ему на фарсидском языке. Кузнец опустил молоток и в свою очередь прокричал несколько слов. Пленный сморщил нос и показал зубы, точно он улыбался, хотя никакой причины для радости у него не было. Между ним и кузнецом началась словесная перепалка. В ней никто не понял ничего, так как в этом ауле по-фарсидски не знал ни один туркмен. Разговор кузнеца с пленным длился долго. Наконец кузнец, снова наливаясь кровью, крикнул по-туркменски:

— Молчи! — и протянул руку, давая знать, чтоб ему не мешали говорить. — Текэ, вы видите этого пленного раба, одетого в птичью одежду? Не думайте, что это краснобородый фарс, которому не хватило красной краски для бороды и он выкрасил ее в цвет пшеницы. Это фаранг, и родина его далеко за горами. Он был в Персии, потому что его послал туда его сердар. Я сказал ему, что убью его. Он ответил, что этого не будет. Фаранги пришлют своих аскеров и убьют меня. «Текэ убьет твоих аскеров», — сказал я. А он ответил: «Взамен убитых фаранги пришлют других». — «Текэ убьет и других». Он опять засмеялся и сказал, что придут третьи. «Мы убьем и этих». А он сказал, что сколько бы мы фарангов ни убили, у их сердаров аскеров хватит. Он говорит правду, текинцы, потому что у фарангов столько же аскеров, сколько песчинок в пустыне. И еще он сказал, что фаранги заплатят за него боль-

шой выкуп. Вот мое слово. Юсуп пал смертью храбрых. Отряд сердара Клыча взял богатую добычу. Часть ее принадлежит Юсупу. Но он мертв; и он был моим младшим братом.

Кузнец не сказал больше ничего. Но сердар подошел к пленному, отвязал веревку, которой тот был прикручен к седлу, и передал конец ее Чее-Мураду.

А потом, отдохнув и наевшись, отряд снова стал седлать и грузить коней. Аламанщики закричали на собак, пиная их ногами, повскакали на коней и тронулись в путь. Мальчишки вприпрыжку побежали следом, кидая комья глины в пленных и показывая им языки. Чее-Мурад, рыча и прихрамывая, потащил своего фанганга в кузню. Глядя на его огромные руки, которые с силой толкали пленного в спину, можно было подумать, что он все же решил пренебречь богатым выкупом — и голове пленника не миновать кузнечного пудового молота.

Отряд уже миновал последнюю кибитку, когда сердар внезапно повернул коня и поскакал к толпе, все еще взиравшей в сторону аламанщиков.

— Юсупа будем хоронить в ауле, как только доберемся туда, — сказал он, обращаясь к дайханам. — В нашем ауле каждый умеет сидеть в седле, но нет никого, кто бы знал, какие слова должен слышать правдивый, когда его тело уходит в землю. Был слух, что молла Кеминэ собирался навестить ваш аул. Если он придет нынче, скажите, что я подарю ему корову или верблюда или, если он захочет, отдам ему любую из пленниц, лишь бы он поторопился следом за нами и прочел над убитым похоронную молитву. . .

Кеминэ услышал слова сердара. Из толпы один Еген-Ораз знал его имя. Чее-Мурад скрылся в своей кузне, Кеминэ смотрел в землю, и сердар во второй раз сказал то, что сказал и первый раз:

— Скажите молле Кеминэ, что я подарю ему самую красивую пленницу. Она будет ему как жена, будет ходить за его ослом, готовить ему обед и зашивать его одежды.

Тогда Кеминэ поднял голову и тронул рукой свою бородку, точно хотел поблагодарить сердара за пригла-

шение. Но Еген-Ораз быстро заслонил его своим телом и прокричал в ответ сердару:

— А я слышал, что молла Кеминэ сейчас гостит в Ташаузе у знаменитого муллы Пира. У тебя много коней и всадников, сердар. Пошли в Ташауз, и, может быть, муллу Пира соблазнит красота твоих пленниц, а Кеминэ такой человек, что ему никакой награды не надо.

И, наклонившись к старому поэту, Ораз-бай толкнул его в бок.

— Ты не беспокойся, мулла, я хоть и не хожу в аламань, но тоже найду, чем отблагодарить тебя. А этот Юсуп был отъявленный разбойник, не хуже Чее-Мурада, и земля с радостью примет его без всякой молитвы.

— Ну, — сказал тогда сердар, приподнимаясь на стременах, — Юсуп пал на поле битвы, и двери рая откроются для него без поповских молитв. А гонять коня в Ташауз — много чести для этого шакала Пира.

И, повернув коня, он поскакал догонять отряд, который скрылся за холмами. Скоро и конь сердара ушел за барханы. А там песок заслонил собой и спину Клыча, и только высокая шапка его долго белела на просторном вечернем небе. Но скрылась и она, и от отряда остались на песке лишь теплые катышки конского навоза да кусок веревки, которой пленный фаранг был прикручен к седлу.

Толпа постепенно разошлась. Солнце уже клонилось к западу, и Еген-Ораз тронул Кеминэ за плечо.

— Идем, почтенный мулла, — сказал он, — солнце клонится к западу. Плов ждет нас.

А Кеминэ будто не слышал. Он торопливо вернулся к кибитке, отвязал осла, вскинул на его спину свое легкое тело и сказал:

— Кх-кх.

Но осел на этот раз не послушал хозяина. Халли заложила ему две большие вязанки свежего клевера, и он позабыл про все на свете.

Еген-Ораз успел дошагать до своей кибитки, а Кеминэ все еще повторял «кх-кх» и тыкал осла палочкой в загривок.

— Что я вижу, почтенный мулла, — сказал Еген-Ораз вкрадчиво, — никак, ты польстился на обещания сердара и торопишься догнать его? Смотри, время позднее. Осел твой стар. Оставайся моим гостем и будь у нас в ауле муллой. Ты будешь жить покойно и сытно. Мы построим для тебя мечеть еще лучшую, чем была у Пира в Ташаузе, а пока считай мою кибитку своей кибиткой, и Халли будет прислуживать тебе и смотреть за твоим ослом. И если у тебя разорвется одежда, она заштопает ее.

Халли в это время проходила мимо, неся от колодца кувшины, полные воды. От тяжести кувшинов ее тело изогнулось, и волосы, выбившиеся из-под берыка, рассыпались по спине. Вечернее солнце золотило их и делало похожими на черный дождь.

— Придется, верно, послушаться старого осла, — сказал Кеминэ, прыгая на землю.

Еген-Ораз, раздумывая над тем, как понять эти слова, молча пропустил гостя в кибитку.

10

Ораз-бай был богатый бай. Он не таскался с аламанами в Персию и не гонялся за легкой наживой в Хиве, куда аламанщики продавали пленных и прочую добычу. Он имел баранов и верблюдов, держал огород, и добрый десяток его скакунов всегда получали главный выигрыш, когда в степи устраивались состязания. Работники его стригли верблюдов и сдирали шкуру с ягнят, шерсть у которых завивалась в крутые колечки, а потом сам бай Ораз или старший чопан везли шерсть и меха на базар в Мерв и там меняли на куски дорогой персидской материи или на сотню батманов¹ джугары, пшеницы, риса и кукурузы. Хлеба у Еген-Ораза было вдоволь; мяса и масла — без меры. Кошм хватило бы... Да имей Ораз-бай десяток сыновей и потребуй каждый отдельное жилище, кошм с избытком хватило бы всем.

Но вот сыновей у Еген-Ораза и не было. Удиви-

¹ Б а т м а н — мера веса.

тельное дело, как такой рачительный хозяин, у которого каждый ягненок был на учете еще до того, как он выпадет из овцы на песок, и у кого не было случая, чтоб пропал хоть один баран или охромел конь, — вдруг упустил самое важное из своих сокровищ. Халли была дорогой невестой. Той, устроенный Оразом по случаю женитьбы, длился пять дней. Глашатай охрип, скликая по аулам гостей на свадьбу. Сколько коней скакало! Скольким борцам повыдергали руки и поломали ноги, сколько стрелков окривело на левый глаз, так они старательно шурились, стремясь попасть в серебряный перстень, служивший мишенью! Каких только песен не пели бахши после пира! А каких могучих быков зарезали! И все без толку.

Как не брать призов скакуну, сломавшему ногу, так, верно, и Еген-Оразу не иметь сыновей или даже самой маленькой дочки.

Соседки без толку помогали молодой жене валять кошмы. Что в них нужды! Еген-Ораз каждый год ставил себе новую кибитку — но разве это радость? Вот когда в новой кибитке поселится сын с молодой женой — тогда была бы радость.

Пуще всего боялся бай, как бы по кибиткам не пошли смешки и шуточки о его беде. Поэтому и кинулся он копить богатства без счета. Над богатым не больно посмеешься. Если одолжил у бая осла или там полбатмана пшеницы, или выпросил старый халат или кусок кошмы, чтобы залатать кибитку, — тут уж забудешь подсмеиваться. Тут три раза руку приложишь к груди и склонишь голову, прежде чем переступишь порог байского жилища. Потому и суров был всегда Еген-Ораз. И подозрителен, и скрытен, и жесток. Потому и ездил каждую неделю в Мерв. Где это видано, чтобы текинец был богомолен, как хивинец или бухарец? А Еген-Ораз каждую пятницу приказывал жене седлать коня и уезжал молиться в город, чтобы подал ему аллах руку помощи. Путь не ближний, конь заморится, и Еген-Ораз сам устанет. Кто знает, может быть, молитва и оказывала свою пользу, да разве сохранишь ее силу, пока доберешься до аула? Целый день на коне,

Кругом жарá, песок. Дышать нечем, жажда томит. Другое бы дело, если б свой мулла был в ауле. . .

Понятно, почему голос бая был ласков и в глазах сияли радость и просьба, когда он говорил Кеминэ:

— Входи, входи, почтенный мулла, моя кибитка — теперь твоя кибитка.

А Кеминэ какое дело до байской беды! Он подождал, когда Халли выйдет из кибитки, чтобы принести воды, и поспешил за ней, словно бы хотел ополоснуть себе руки.

— Не правда ли, — сказал он, трогая женщину за плечо, — сладок не тот плод, который падает тебе в рот, а тот, до которого надо тянуться с палкой?

А Халли все еще сердилась непонятно на что.

— Смотри, мулла, не коротка ли палка! — крикнула она в ответ и поспешила в кибитку.

Когда вечерняя еда была окончена, Кеминэ дал согласие Еген-Оразу остаться в их ауле и быть муллой.

Вот ведь какой старый упрямец этот Кеминэ! Нищета давно толкала его в могилу, а он говорил, смеясь: «Не хочу». Халли не нашла для него ни одного ласкового слова, а он все-таки отказался от подарка сердара. Еген-Ораз пригласил его быть муллой, и он назвался муллой, хотя из молитв и знал одну лишь похоронную молитву, а ведь Еген-Ораз заботился не о мертвых, а как раз наоборот. Настоящего имени поэта не знал никто, и он звался Кеминэ. На языке фарсов это слово значит «ваш покорный слуга», или «на все готовый», или «рад служить». Он был готов на все! И когда Еген-Ораз перед сном попросил его рассказать, что же такое вышло у него с великим муллой Пиром, Кеминэ с готовностью приступил к рассказу. Его счастье, что бай захрапел сразу, не то не стал бы он слушать поэта — просто взял бы его за бороду и вытолкал в степь, где уже визжали и плакали шакалы, пробираясь к дохлой собаке, которая была лакомым блюдом для этих вонючих, трусливых негодяев.



К Н И Г А В Т О Р А Я

1

На самой окраине сухой степи, что лежит по соседству с Хивой, уже не один десяток лет знаменитый мулла Пир таскал на кобыле свое дряблое брюхо. Слава о его красноречии и хитрости, а заодно о его жадности и бесстыдном уме широко катилась по пескам.

Бывало дайханин, задумавший вырастить на том своем огороде лук покрупнее и послаще, чтобы вымолить воды на полив в срок, сравнивал распорядительность и справедливость мираба с мудростью и умом муллы Пира.

И тот же дайханин, когда был обижен при распределении воды, непременно снова поминал Пира. Только теперь это выглядело так. Широко шагая, он откидывал цыновку, закрывавшую вход в кибитку, снимал папаху и, держа ее в левой руке, правой утирал вспотевшие лоб и шею. Потом садился на ковер, принимал из рук жены чашку с чалом и, отхлебнув, говорил, еле сдерживая обиду и злость:

— Этот черт мираб всякий стыд потерял. Самую раннюю воду он пустил на свое поле и на огород этого скряги бая Ораза. Мне опять вода досталась в полдень, когда земля накалилась, словно котел. Мираб корыстен и подл, как мулла Пир. Эти муллы, мирабы и баи толь-

ко и знают, что обижать бедного дайханина. Пора бы нам сговориться с соседями и выбрать нового мираба.

И, немного поразмыслив, добавлял:

— Или и впрямь занялись мы, туркмены, не своим делом: огороды копать, семена в землю кидать. Нам баранов в песках от волков пасть. Только и в песках стало не слаще. И там первая вода из колодца байскому стаду. Видно, бедняку одно осталось — лечь да помереть. А как помрешь? Мертвому молитва нужна, а покличь на похороны этого ненавистного Пира — он обдерет покойника не плоше, чем волк барана...

Тут жена его с испугом прерывала:

— Что ты? Что ты? Разве можно говорить так? Тебя услышит аллах. (Она говорила «аллах», а думала о соседке, чья белая кибитка стояла совсем близко от их черной. Соседка была язва и сплетница. Старый муж ее заваливался спать вместе с курами, детей не было, и любопытная женщина просиживала все вечера в одиночестве, прислушиваясь к голосам, которые доносились из соседних кибиток. Ну, а услышанное, ясно, она не таила про себя, и в ауле всякий знал все про всякого.) Разве можно говорить так про служителя аллаха? У тебя вспухнет живот...

По всем колодцам и по трем текинским рекам не найдешь аула, где бы не было славно имя Пира.

Ребята, играя в бабки, самому толстому и злому обязательно давали кличку — мулла Пир. Мужья своих жен-растерях ругали Пировой кобылой. Бедняки-ишаны (а среди ишанов и мулл тоже были неудачники) во сне не раз видели себя обладателями таких сундуков, какими до потолка заставлен дом ташаузского счастливца. Бахши, приглашенные на осенний той, в свои песни и рассказы вплетали имя Пира наряду с именами самых лихих витязей, или самых могущественных и жестоких ханов, или самых прославленных красавиц.

— Аллах наградил его таким даром слова, — говорили они про Пира, — что мертвый, послушав его лисьи слова, поверит, что опять стал живым, и на радостях подарит ему свою погребальную рубашку. Хитрей его нет на свете человека.

— А Кеминэ? — спрашивали гости, качая головами.

— Если бы он встретил Кеминэ, он бы и у шахира сумел отнять его шубу, — отвечал бахши.

И тут все начинали смеяться, потому что одно упоминание прозвища нищего поэта настраивало их сердца на веселый лад. Или, может быть, они смеялись потому, что вспоминали рассказы про шубу Кеминэ, составленную из одних заплат.

— Да и что пользы, если бы Кеминэ сумел одолеть Пира, — продолжал бахши. — У святого мошенника сам хивинский кази-раис первый друг. Пир шепнет ему на ухо одно слово, и стражники бросят Кеминэ в зиндан¹, как они бросили туда многих бедных туркмен — текинцев и иомудов, осмелившихся прогневить муллу. А из этого колодца, полного скорпионов и змей, никакой язык не спасет. Даже язык Кеминэ. Нет, уж, верно, бедному человеку одно утешение — песни. Когда же, наконец, родится смельчак, который возьмет в руки палку и воздаст злодеям за все? . .

И, сказав так, бахши снова брал дутару, чтобы звон струн заглушил несправедливости и обиды жизни.

2

Пир сидел в Ташаузе на пороге своего нового дома, когда какой-то бродяга в рваной шубе остановил перед ним усталого осла.

Шубу странника покрывала дорожная пыль. Осел был костист и стар. Глаза его светились голодной печалью.

Мулла окинул бродягу быстрым взглядом и опустил голову. «Пусть себе попрошайка едет своей дорогой, — подумал он, делая вид, что молится. — Чего только смотрят стражники, хватать надо таких бродяг».

Но дыхание осла продолжало обдавать влажным теплом его ноги.

¹ Зиндан — темница, глубокая яма, прикрытая сверху решеткой

Тогда мулла обдернул халат и отдался горестным мыслям, постоянно терзавшим его сердце.

«Сколько людей живет на свете зря, — сокрушался он, поглаживая бороду, как это делает всякий правоверный, вспоминая аллаха. — Вон Юсупу из Тахты стукнуло сто пять лет, а он все еще нудит землю, топчет ее своими старыми кавушами¹, живучий ишак. Или старуха Таушан. Ей невмочь поднять и кувшина с водой, ни на что не годна. А все не хочет в могилу. Ее сынок Санар небось отвалил бы за ее похороны целого быка. Или Кайксыз из Порсу. Вместо живота у него яма, глубокая, как зиндан, и прошупать хребет спереди стоит не большего труда, нежели сделать это сзади. А что проку? Брат Кайксыза позвал табиба и пролечил ему все добро. Когда больной помрет, чем он отблагодарит муллу? А какой скакун был у Кайксыза! На такого и сам кази-раис польстился бы. Только ведь дураки поверили табибу, будто больного надо кормить печенкой любимой лошади. И конь пропал, и больному все равно не жить. Второго такого скакуна и во сне не видано было. Ай-ай-ай. . .»

От таких горьких мыслей стало во рту муллы горько, и он сплюнул со злостью что было слюней в его зубастом рту.

А попрошайка все еще торчал тут.

Плевок муллы угодил ослу прямо в ноздри. Осел стал фыркать и мотать головой, а потом поднял голову, собираясь начать свою горькую сиротскую жалобу.

Мулла был даже рад этому.

Когда над правым ухом кричит осел, левое может не слушать, о чем хнычет нищий оборванец.

Пир еще теснее сдвинул брови, провел обеими ладонями уж не только по бороде — по всему лицу и пальцами даже почесал себя за ушами. Это был большой намаз². И какой правоверный осмелится прервать молитву муллы?

¹ К а в у ш и — кожаные калоши, обычно надеваемые поверх мягких сапог.

² Н а м а з — молитва.

Теперь мулла думал о других печальных вещах.

«Вот, — думал он, — сундуки мои полны серебром и шелками. И сам великий Кази называет меня лучшим другом. А если подохнет ханский пашенок, которого ранили на охоте разбойники, опять небось позовут читать молитвы не меня, а муллу Сеида. Конечно, Сеид узбек, и хан — да продлит аллах его дни — тоже узбек. Но главное не то: у Сеида в учениках все сыновья знатных хивинцев, а у меня лишь десяток сопи¹, и те — будь они неладны — либо иомуды, либо чаудуры, простая деревенщина. Муллу красят ученики, как красавицу груди. Раз у муллы учеников много, он и к богу ближе — вот как думают дураки. А кто ж поймет, почему бегут ученики от Пира? Конечно, у него сопи не сидят без дела. Но не покупать же ему рабов. Усадьба работы требует. А рабы-то теперь почем на рынке? Разучились джигиты в набеги ходить. В земле копаться стали, баранов от волков пасут, а о воинской добыче и не думают. . .»

И мулла приоткрыл один глаз, чтоб окинуть взором свои владения. Но, открыв один глаз, он сейчас же открыл и другой. Попрошайка все еще был тут. Он отвел осла в сторону, а сам сел против Пира и также хмурил брови, и щурил глаза, и проводил ладонями по лицу, и собирал в горсть кончик реденькой бородки, точно надеялся, что и его, попрошайкина, молитва будет услышана аллахом или пророком. Мулла смотрел на него левым глазом, и странник уставил на муллу левый глаз. Пир открыл другой глаз, и Кеминэ уперся в него обоими глазами.

Нет, такого гостя не перемолчать.

— Что тебе, добрый человек? — спросил тогда мулла. — Если ты хочешь пожертвовать немножко денег, чтоб покрыть расходы по постройке новой мечети, я рад с тобой потолковать, хоть мне и недосуг. Если ж ты намерен докучать мне пустыми просьбами, то отвяжи скорей осла, который ест сено, припасенное вовсе не для него, и поезжай своей дорогой. Просить надо ал-

¹ Сопи — ученики мулл, принадлежащих к монашескому ордену.

лаха, а не муллу. Аллах велик, а я только жалкий раб его.

Кеминэ только и ждал этого.

— Прости меня, святой и трижды знаменитый мулла Пир, — сказал он, притворяясь испуганным, — если я помешал тебе. Только ведь я приехал не затем, чтоб просить. Я приехал дать тебе то, что ты заслужил. Но вижу, что пришел не ко времени. Ты молился. И я сейчас уйду, учитель...

С этими словами Кеминэ проворно поднялся и с легкостью, удивительной для его лет, поспешил к ослу.

— Постой, постой, почтенный человек! — закричал тогда Пир. — Что ты хочешь дать мне?

И подумал: «Это, верно, богатый богомолец, который из благочестия предпочитает ходить в рваной одежде. Аульный дикарь никогда не знает, как надо прилично одеться, отправляясь в город. Уж не хочет ли он стать моим учеником?»

— Оставь свое доброе животное, — сказал он, — пусть оно насыщается, пока мы с тобой будем пить чай. Прощу тебя, будь моим гостем.

Говоря так, он распахнул ворота своего нового дома. Петли заскрипели. Пыль поднялась столбом. И в облаке пыли, разгоняя ее руками, в усадьбу самого хитрого и жадного муллы ступил самый веселый шахир, который не побоялся ни хивинских стражников, ни глубокого зиндана и приехал воздать Пиру за все, что тот сделал бедным жителям песков.

3

Еще Кеминэ не выпил и первой пиалы чаю, и кусок сахара, прозрачный и твердый, как камень, еще не растаял на его языке, а мулла уже весь сгорал от нетерпения разузнать о богатствах своего гостя. Однако спросить об этом прямо было неприлично, и вот Пир повел разговор издалека.

— Хорошо богатым людям жить на свете, — сказал он. — Их все знают. Бедный — что? Имя бедного человека, как черепаха, ползет по пескам, а имя богатого на

коне скачет. Правильно сказал наш великий Махтум-Кули¹:

Не спросят имени тсго,
Кто не имеет ничего.

Кому какое дело, как зовут бедняка — Кайксыз или Сопар. Бедняк — что ишак. Ему покажешь кусок хлеба, он и бежит за тобой хоть до самых гор. Другое дело богатый. Он на базар зашел, и каждый знает: вот идет наш почтенный сосед, у которого много сундуков и баранов. Богатый хоть какую угодно рваную шубу надень, его никто с бедняком-попрошкой не спутает.

И мулла даже пошутил:

— У нас в городе самые заметные люди, знаешь, кто? Богатеи да разбойники. Разбойник, если даже и в мечеть войдет, и там ни от кого не спрячется. Его сразу укажут.

— Вот это ты верно сказал, — подхватил Кеминэ. — Я только приехал в город, мне сейчас твою мечеть указали. Тебя всякий знает.

«Очень он непонятно выражается», — подумал мулла, но Кеминэ продолжал:

— Ты очень заметный человек, мулла. Тебя всякий знает. Даже до меня, старого неуча, докатилась весть о твоей мудрости. Я, как видишь, человек уже немолодой.

...и мсе дыханье смерть прервет.
Так уж предначертано. Судьбы веленье.
Я еще не знаю часа мсего,
Но весны моей зеленое цветенье
Где осталось? ..

Только тяжело умирать дураком. Про дураков великий Махтум-Кули, которого ты помянул, как сказал?

Ни сесть, ни встать с народом в ряд,
Когда во лбу нет ничего.

И верно. Что наша жизнь без знаний? Дыхание ветерка. Он поднялся и затих. Где он был, куда ушел?

¹ Махтум-Кули — великий туркменский поэт XVIII века.

Ах, мулла, как мучит меня мое невежество! Вот мы уже дважды помянули мудрейшего из поэтов — Махтум-Кули. А ведь и его мучила та же неизвестность.

Кто создал мир из ничего,
Спроси у этих древних гор.
О том, что было с давних пор,
Поведают нам горы, —

говорил он.

Вертись, неправый мир, вертись.
Плачь, смейся, умирать ложись.
Как снег, как дождь, проходит жизнь,
Как тень над вами — горы.

«Как дождь», — повторил Кеминэ и сделал вид, что плачет. — Был я в горах, — продолжал он, всхлипывая, — ничего мне не ответили горы. Что могут ответить камень и вода? Я так понимаю: горы — это муллы, которые, как снежные вершины, в своих белых чалмах возвышаются над нашими глупыми головами. Это про вас писал мудрейший из поэтов.

И, сказав так, Кеминэ перестал плакать, отставил чашку с недопитым чаем и отвесил глубокий поклон.

— Вот о чем я хочу просить тебя, великий мулла, — сказал он. — Будь моим наставником, возьми к себе в ученики. Я ничего не пожалею, чтоб рассчитаться с тобой. Я сделаю для этого все, что будет в моих слабых силах.

Кеминэ помолчал и снова принялся читать стихи:

От руки судьбы я в ужас прихсжу.
От тоски не скрыться в мире преходящем.
Свой огонь я в сердце скоро затушу
И скажу с тоскою...

Когда гость принялся читать стихи, мулла перепугался:

«Да это, никак, ишки¹, — подумал он. — Эти сумасшедшие ездят по степи следом за бахшами и не дают покоя ни своим ушам, ни своему ослу. Им никакого

¹ Ишки — любители стихов, странствующие вместе с бахшами.

хлеба не надо, только бы слушать песни. Вот почему осел его так худ и одежда в пыли. Он теперь принялся за стихи, и его не остановить. Есть такие длинные песни, что их и до утра не переслушаешь».

И так как Кеминэ уже сказал самое главное: «Я для тебя ничего не пожалею», — мулла оборвал его на полуслове.

— Оставим, добрый человек, песни и сказки бахшам, — сказал он наставительно. — Не всякая песня угодна богу. Среди шахиров были мудрые люди, но немало среди них и негодников, смутьянов, отступников от шариата. Вот слышал я про такого шахира Кеминэ. Этого шайтана давно пора бросить в темницу. Мы с тобой люди серьезные. Поговорим о деле.

И так как Кеминэ умолк, мулла продолжал:

— Аллах наградит тебя за твое похвальное намерение — ничего не пожалеть для муллы. Всякий, кто дает, получит вдвое. Если ты будешь прилежным сопи, ты скоро достигнешь всего. Так иди же, почтенный человек, скорее туда, где ты оставил свои вещи. Моя мечеть станет твоим домом, и остальные ученики будут тебя слушаться, как меня.

Кеминэ так и сделал. Он сел на осла и поехал к базару, где оставил кошму, которая ему служила и подстилкой, и одеялом, и шатром и с которой он не расставался никогда в своих странствиях.

«Он обещал ничего не пожалеть для меня, — стал размышлять мулла, снова опускаясь на порог. — Что это будет? Сундуки с материей или серебро? Или, может быть, текинские ковры? Конечно, ковры. Степной дикарь никогда не знает толка в серебре. Ну, пусть ковры. На рынке-то они почем теперь?»

Кеминэ ехал к базару не торопясь, и мулле долго еще были видны его ветхая чалма и худая спина. И было видно, как каждый туркмен обязательно уступал ему дорогу и при этом низко кланялся, словно на осле сидел не бродяга в рваной шубе, а толстый бай в шелковом халате.

«Это, верно, очень богатый человек, — подумал мулла, — раз ему каждый дайханин кланяется в пояс. — И улыбнулся. — Конечно, это будет серебро».

Подумав так, он поспешил к мечети — распорядиться, чтоб вымели и проветрили самую лучшую келью, и от души возблагодарил бога, который услышал его молитвы и послал ему такого почтенного и богатого ученика.



Неспокойно было тот год в хивинском ханстве.

Вот толкался по базару безносый дювана¹, который пускай безносый, а все новости лучше самого кази знает. Надо бы ему и язык вместе с носом отрезать, небось замолчал бы, не стал бы кричать, будто могуществу его светлости, премудрого и предобрейшего хана благородной Хивы пришел конец. Он кричал, будто фарсы убили своего шаха — и теперь у них новый шах Мухаммед, который дал клятву сровнять с землей сады и кишлаки хивинцев, убить хана и самому сесть в ханском дворце. Уже аскеры Мухаммед-шаха перешли Гюрген, разбили и рассеяли гокленов и требовали с них такого выкупа, что гоклены как один снимали свои кибитки и двинулись искать защиты к Хиве. Будто и урсы тоже собирают своих аскеров против его светлости преславного хана Хивы и сумели переманить на свою сторону казахов, что кочуют от Мангышлака до Хивинских пределов.

И ведь не зря хрипел вонючий козел! К чаудурам в Юргендж прискакали всадники со стороны моря. Чаудуры собрали стариков, сидели две ночи — и на чем порешили, не знает никто. Его величество Мадамин-хан стоял у стен Серакса и посылал в Хиву гонца за гонцом с повелением рубить головы всем, кто своей болтовней сеет в сердцах правоверных зерна сомнений в могуществе и доброте хана. Хивинские беки пригрозили отдать в рабство всех чаудуров, если те в срок не сдадут пошлин. Чаудуры что надо внесли, только будто уже выбрали старшим сердаром головореза Ших-Абдуллу и не то собирались ударить на гокленов, не

¹ Д ю в а н а — дурачок, юродивый.

то уходить за Астрахань на Кизляр, а не то, соединившись с иомудами и гокленами, ворваться в Хиву и посадить ханом своего Абдуллу.

Беки собрали совет и порешили просить кази-раиса, чтобы он посулил иомудам чего они хотят, лишь бы иомуды не держали руку чаудуров, а лучше всего — послали бы своих джигитов в набег на текинские и на казахские аулы. Кази-раис выслушал беков и не сказал ничего. С восхода солнца и до заката он был занят тем, что толкался по рынкам, приглядываясь к мальчишкам, которые постройней и попримудней.

Купцы на базаре с опаской посматривали на каждого туркмена, все равно — чаудур ли он, иомуд, или текэ, и на рынке, покупая рабов, предпочитали афганов со здоровенными кулаками. А не то — не дай бог — подступят к стенам кочевники или урсы, и свой же раб кирпичом проломит тебе голову.

Но вот сам Мадамин-хан прискакал в столицу. Во дворце три ночи горели огни. Беки и старейшины совещались три ночи и три дня. А на четвертый день стражники схватили на базаре двух дайхан, привезших из песков шерсть, и отрубили им головы. Кто были эти дайхане, не знал никто. И бросили в темницу еще восемь туркмен и трех узбеков. А там вдруг объявился во дворце какой-то фаранг. Его светлость Мадамин-хан посадил его рядом с собой и советы его слушал, как свое сердце, а тех, кто говорил, что фарангу надо отрубить голову, слушать не стал. Потом фаранг в птичьей одежде уехал к шаху с письмом от пресветлого хана Мадамина, и опять кричал безносый, что вот придут в древний город нечестивые фаранги, заставят мусульман есть чушку¹ и пить араку².

Купцы на все товары набавили полтеньги и каждую ночь проверяли запоры усадеб. Если будет война, аскеры первым делом кинутся грабить усадьбы.

А потом и безносый угодил в зиндан, на пищу фалангам. И никто больше не кричал ничего. Подступал постный месяц — ораза. А пока мусульмане постятся,

¹ Ч у ш к а — свинина.

² А р а к а — водка.

какая может быть война? Все улеглось. Гоклены не дошли до города и повернули обратно. Шах устал от походов и слал в Хиву послов. Всюду снова был мир; однако кази-раис забыл о смазливых мальчишках, подолгу вел беседы с муллами и аксакалами и на днях обещал приехать в Ташауз к Пиру. Муллы должны втолковать иомудам, что текинцы — разбойники и защитник у иомудов один — хан хивинский. А текинцы должны знать, что разбойники — иомуды и без помощи хана Хивы текинским стадам не уцелеть: всех угонят иомуды. Каждое туркменское племя должно видеть в его светлости Мадамин-хане своего отца и заступника. Ну, а кто же лучше Пира сумеет столкнуться с туркменами? Он сам туркмен. Вот и ждали кази-раиса в Ташаузе со дня на день.

Кеминэ узнал все это в чайхане от болтливого чайханщика, забрал свою кошму и отправился к мулле Пиру, чтоб стать его учеником.

Глаза его при этом светились особенным весельем, и даже осел бежал быстрее обыкновенного, когда слышал, как радостно и бодро покрикивает хозяин свое «кх-кх».

5

Пир встретил Кеминэ, как если бы это был сам кази-раис.

— Входи, входи, почтенный сопн, — сказал он радостно и сжал ладонь шахира своими ладонями, как это делают узбеки, когда встретятся на базаре. — Я сейчас пошлю ученика, чтоб он помог отнести в келью твои сундуки... Курбан, Курбан! — закричал он пронзительно, задыхаясь от обилия желаний, которые теснились в его ненасытной душе. — Курбан, помоги этому почтенному сопн перетащить во двор его имущество!

Молодой эрсаринец выскочил из кельи, как испуганный заяц. Он был худ и бледен, и длинный халат путался у него между ногами.

— Где, ага, твое имущество? — спросил он, уставясь на Кеминэ, борода которого сегодня казалась особенно реденькой и торчала вперед, словно пика.

— Да вон, за воротами, — сказал Кеминэ и с жадностью посмотрел на Курбана. Этот нескладный сопик напомнил поэту его старшего сына. — Ты, смотри, не устань! — крикнул он вдогонку. — Тебе одному-то не больно не управиться.

Муллу при этих словах охватила такая жадность и такое желание получить скорей от нового ученика хоть часть его имущества, что он стал перебирать ногами, как это делают ребята, когда им не терпится, и кричал:

— Да ты не разгружай каравана на улице, Курбан! Веди сюда. Аллах простит. Мечеть новая. Кони и верблюды этого почтенного человека не осквернят ее.

Но осел знал свое место лучше муллы. Он никак не хотел переступить порога мечети. Он кричал и упирался, и Курбан насилу справился с ним, пихая его руками и коленками.

— Куда прикажешь, учитель, поставить осла? — спросил он муллу Пира, когда осел наконец был во дворе. — Может быть, и ему отвести отдельную келью?

Мулла злобно взглянул на ученика и хотел по своему обыкновению ударить его, но воздержался.

— Что ты пристал с пустым ослом! — закричал он. — Ты скорей мешки тащи или, что там, сундуки. Смотри, как бы не унес кто, мало ли теперь шляется по городу лихих людей.

И, оттолкнув Курбана, мулла сам кинулся к воротам.

За воротами лежала только пыль, розовая от закатного солнца.

— Ну, спасибо тебе, Курбан, — говорил тем временем Каминэ. — Надеюсь, ты не очень заморился. Это такой упрямец. Бьешься с ним, бьешься!

И так как Кеминэ по-настоящему любил свое мудрое и терпеливое животное, он обнял осла и поцеловал его в теплые губы.

Мулла между тем уже успел все обшарить за воротами и теперь оторопело смотрел на поэта.

— Где же богатства твои, сын мой? — спросил он растерянно. — Ты обещал мне отдать все. Где же твое добро?

Кеминэ не хотел до времени ссориться с Пиром. Он махнул рукой в ту сторону, где за стенами города лежала степь, и сказал:

— Мои богатства там, почтенный мулла. Вот когда ты пойдешь по аулам, ты у каждого текинца и иомуды найдешь то, что я им оставил. Они очень берегут мое добро и скорее расстанутся с жизнью, чем его потеряют.

Говоря так, он думал о своих песнях, которые, услышав раз, навсегда запоминал каждый. Но мулла понял поэта по-своему.

— Ой, неосторожно ты сделал, — вскричал он с досадой. — Да разве теперь такое время, чтоб доверять добро чужим людям?! Персы воюют с гокленами. Текинцы грозят напасть на иомудов. Чаудуры, слыхал я, просились у царя урсов откочевать за Астрахань. Смотри, как бы они заодно со своим скарбом не прихватили и твое добро. Ты теперь мой ученик и слушайся меня во всем. Надо послать в аулы верных людей, и они все добро перетащат ко мне. В мечети стены толстые и запоры верные.

И он пригласил Кеминэ осмотреть новое здание мечети, выстроенное руками учеников.

Это была настоящая крепость аллаха, каких немало в городах Хорезма. Четыре стены из серого кирпича окружали просторный двор. По углам, как столбы дыма, голубели невысокие минареты. Крепкие ворота были покрыты искусной резьбой, и вокруг стен, подобно пчелиным сотам, лепились хуждры. В этих темных, сырых кельях спали, молились и тайком играли в кости ученики муллы — сопи.

В каждой хуждре в стене были углубления. В них лежали толстые молитвенники, покрытые пылью, и дынные корки, над которыми вились мухи.

— Твои богатства, сынок, — сказал мулла, — будут лежать здесь, как эти книги. Никто их не тронет. А на двери мы повесим замок.

— Если бы богатства мои были книгами, — ответил Кеминэ, — я был бы уверен, что никто к ним здесь не притронется. Но они совсем не книги, и их не запрешь на замок.

И он даже рассмеялся от одной мысли, что песни его можно запереть под замок.

«Это, верно, бараны, — подумал мулла, — или кони. Или бродяга просто обманщик». И, сделав вид, что его совсем не интересуют богатства Кеминэ, он перевел разговор на другое.

По земле мимо дверей кельи полз жук навозник. Он толкал перед собой большой комок добычи и, еле справляясь с ним, останавливался через каждый десяток шагов. И когда он поднимал лапки и махал ими в воздухе, было похоже, что он утирает со лба пот.

Этот жук и привлек внимание муллы.

— Смотри, — смеясь, обернулся он к Кеминэ. — Этот навозник точь-в-точь наш бедняк-дайханин. Всего-то добра у него кусок навоза, а старается и потеет, словно он так же богат, как я или ты.

И он с любопытством взглянул на Кеминэ. Только ведь он не знал, что это Кеминэ. А Кеминэ и сам был бедняк, и лучше уж при нем ударить богатого старика палкой, чем смеяться над простым дайханином.

Мулла пошутил и прошел вперед, а Кеминэ склонился над жуком, тронул его палочкой и вдруг закричал, да так громко, что все ученики высунулись из своих хуждр:

— погоди, мулла, постой, ты ошибся. Этот навозник совсем не бедняк, он мулла. Я задержал его, а он сейчас же поднял лапки, словно меня благословить хочет. Верно, подумал, что я ему за это подарю что-нибудь. Как это ты не признал его?

Ученики при этих словах стали громко смеяться, а мулла рассердился.

«Какой черт этот новый сопи, — подумал он. — Конечно, у него нет никаких богатств, а язык у него острый и злой, точно он Кеминэ».

И, сразу меняя ласковый тон на строгий, он сказал:

— Ученики не могут смеяться над муллой. За муллой всегда должно остаться последнее слово.

— Верно, верно, — подхватил Кеминэ, — с этим каждый бедняк согласится. Последнее слово, что последняя копейка, всегда достанется мулле.

Сопи были сыновья бедных дайхан, они знали, во что обходятся их отцам молитвы, и засмеялись еще громче. А у муллы от злости даже голос перехватило, как у петуха, когда он спросил:

— Что ты хотел этим сказать? Тут тебе не пустыня, где каждый дерет глотку, как хочет. Здесь хивинские стражники недалеко. Тех, кто оскорбляет муллу, они кидают в зиндан.

— Что ты, что ты, мулла, — ответил Кеминэ испуганно. — Зачем я буду оскорблять муллу? Я сказал, что, когда человек умирает, родные не должны жалеть последней копейки на похороны, и последнее слово, которое слышит умерший, — это слово муллы. Я ведь и сам хочу быть муллой. А навозник, если он рассердил тебя, сейчас получит от меня по заслугам.

И он раздавил жука с такой злостью, словно это был не жук, а сам мулла.

У Пира пропала всякая охота продолжать беседу.

— Вот твоя келья, — сказал он, — живи здесь, слушайся меня и поторопись расплатиться за все.

— Не беспокойся, мулла, за этим дело не станет, — весело ответил Кеминэ.

Оставшись один, он поторопился заснуть.

Он приехал издалека, был уже не молод, болен и очень устал, а наутро ему предстояла не легкая задача — поквитаться с муллой за все: Пир был посильнее жука, и стражники бросят в темницу каждого, кто задумал бы голой пяткой раздавить такого важного муллу.

6

Пира недаром называли самым жадным и скупым из мулл. Он меньше думал о том, чтоб ученики его знали коран и разные молитвы, чем о том, чтоб с их помощью множились его богатства.

В других медресе¹ ученики сидят по кельям, разбирают старые книги и учат не только Хафтиаку или Коран, но даже газели Физули и Хафиза. Недаром и

¹ Медресе — духовная школа.

великий Махтум-Кули, сын Даулет-Мамед-Азади, сложил свои первые песни, когда был сопн и жил в келье хивинской школы Шир-Гази-хана.

Какой туркмен не знает песен Махтум-Кули!

Этот мудрейший шахир был гоклен из рода Когезов, а песни его поют и эрсари, и иомуды, и текэ, и чаудуры, и даже те из чаудуров, что ушли за Астрахань. Бывало нападут сарыки на текинцев или иомуды на гокленов, оттеснят их с жирных пастбищ, разорят кибитки, уведут скот, жен возьмут как пленниц, а потом на радостях устроят той. Соберутся бахши со всех родов. Джигиты скачут, играют, затеют борьбу. Начнут стрелять из лука. Потом жарят баранов и слушают песни, какие сложил Махтум-Кули:

Коли нету баранов и кибитка пуста,
Кто скажет, какого ты сын отца?
Пусть в битве безумье сжимает сердца.
Лишь храброму песни и слава.

И еще бахши поют другие песни Махтум-Кули, потому что великий гоклен немало придумал слов в похвалу победителям.

И те, кого постигла неудача, в тот же вечер, подсчитав потери, чтоб заглушить печаль, позовут бахши и будут плакать, слушая песню, какую сложил в утешение побежденным тот же гоклен из рода Когезов, великий шахир Махтум-Кули:

Где смех красавицы моей?
Где говорливый соловей?
Где милый дом в тени ветвей?
Где счастье жизни, горы?

Вертись, неправый мир, вертись.
Плачь, смейся, умирать ложись.
Как дождь, как снег, проходит жизнь,
Как тень над нами, горы.

И в кибитке чопана, и в доме иомудского сердара, который договорился с хивинцами идти войной против своих же братьев гокленов, и на привале у колодца — все поют песни Махтум-Кули, как все слушают рассказы про Кеминэ.

Махтум-Кули, когда был сопси, перечитал много книг на всех языках: на фарсидском, арабском и на узбекском. Он был грамотеем и шахиром и сложил столько песен, что их хватило всем туркменам и тем, кто жили с ним, и тем, кто живут сейчас, потому что он далеко видел вперед и знал, какие печали и радости будут томить наши сердца. Махтум-Кули жил долго и видел все. Только это было злое время, и сердце его не перенесло огорчений жизни. Иомуды нападали на гокленов, а гоклены нападали на иомудов. А ведь у них был один язык, и один песок под ногами, и одна судьба — судьба пастухов и воинов, осажденных ханскими псами. Сердце великого печальника разорвалось от огорчений жизни, как рвется мех, когда в него нальют уксус. Махтум-Кули умер давно, и уже лег в могилу тот старец, который, когда был мальчиком, видел седую бороду великого шахира. Скоро и Кеминэ станет стариком. Как вода, бежит время, и, как тень, проходит жизнь, а иомуды попрежнему нападают на гокленов, а гоклены на текэ. Распря племен рвет на части туркменский народ. А сердары и баи ездят на поклон к хивинским бекам и, подобно хивинцам, стремятся заполучить к себе в гости ишанов и мулл. Будто для счастья народа нужно, чтобы в каждом ауле сидел свой мулла. Впрочем, какое дело сердарам и баям до счастья народа? Их счастье — это шелковые халаты и крепкие сундуки, куда можно ссыпать серебро.

Муллу Пира не заботило — читают ли его сопси книги. Он строил себе новый дом, и ученики его рыли канавы, месили глину для кирпичей и таскали воду, как последние рабы. Тех, кто ленился, Пир, привязав к дереву, стегал ремнем и грозился, что отдаст их хивинским стражникам.

Кеминэ теперь стал учеником Пира и должен был делать все, что делали другие.

Наутро мулла пришел в ту келью, где спал поэт. Кеминэ сидел на кошке и пил чай. У бедного шахира не было даже лепешки, и Курбан поделился с ним остатками вчерашней еды.

Муллу увидел, с какой жадностью Кеминэ жует

сухой хлеб, и уверился окончательно, что новый сопи бедняк.

— Торопись, сынок, торопись, — сказал он грубо. — Все ученики на работе. Иди и ты, раз напросился в сопи.

А Кеминэ был такой человек: он что начнет делать, делает хорошо и доведет до конца. Он дожевал лепешку и сказал, посмеиваясь:

— Иду, иду, мулла. Я обещал быть прилежным учеником и стану перенимать у тебя все, что ты умеешь. Я от тебя ни на шаг не отойду. А уж потом расплачусь за все.

Эти слова совсем не понравились мулле.

— Другие ученики вперед платят, — сказал он наставительно, затем взглянул на рваную шубу нового сопи и закричал еще грубее: — Ну, будешь ты поторапливаться, старый ишак? Здесь тебе не каравансарай. Дом никогда не будет построен, если каждый ученик станет прохлаждаться, словно он кази-раис.

Солнце тем временем поднялось высоко. Подмышками собрался первый утренний пот. Кеминэ поднялся с кошмы, и мулла, поддергивая рукава халата, вместе с ним поспешил к постройке.

Сам мулла Пир был туркмен из рода Махтум, но дом его был под стать хоть кази-раису. Три просторные комнаты смотрели на террасу, столбы которой были выкрашены синькой. В саду ученики вырыли водоем и сложили сопу¹. Платаны и акации зеленели вокруг водоема. Положи на сопу ковер и валяйся на нем, смотри, как небо тонет в воде и платаны растут корнями кверху. А дальше до самых ворот курчавились виноградники. Нет, туркменские дайхане так не жили. Туркмен рождается в кибитке на кошме, и кругом аула дымится песок.

Ученики с утра до вечерних звезд гнули спины и, завидев Пира, всякий раз думали: «Чтоб ты высох скорей и сдох». Но Пир не сох, он был живой и толстый, и сопи работали на него до ночи, как последние рабы. Они кидали один другому кирпичи. Стоя в воде, ногами утапывали глину. В тяжелых плетенках таскали навоз

¹ С о п а — возвышение, помост, род дивана.

для виноградников и делали еще много всякой работы, от которой спины их блестили потом, как блестят у богатеев хивинские халаты, расшитые золотом.

Мулла, заложив руки за спину, ходил по саду и кричал то на одного, то на другого:

— Курбан, ты чего стоишь без дела? Плетки захотел?

Или:

— Торопись, Дурды! Еще тебе сегодня погреб рыть. Не жалей рук, не жалей, небось кази-раис тебе рук целовать не собирается.

Или:

— Мухаммед, куда навоз кидаешь? Все сапоги мне замарал. Ты думаешь, я такой же ишак, как ты?

И еще он кричал много всяких ругательств, которых, как и молитв, немало знает всякий мулла.

Так мулла и сегодня бранился и кричал до полудня, когда хватился, что нового сопи нет ни среди тех, кто кидал кирпичи, ни с теми, кто таскал навоз.

Он обернулся и увидел, что Кеминэ заложил руки за спину и ходит следом за ним, ничего не делая.

Такое поведение ученика лишило сердце муллы последних остатков благочестия.

— Вот ты где, бездельник! — закричал Пир. — Гнилой ишак! Мало того, что ты обманщик, ты еще и лентяй. Уж не думаешь ли ты, что я буду кормить тебя задаром? Раз ты сопи, так и делай то, что делают другие сопи.

Вот когда пришло время приступить к тому, за чем тащился шахир через всю степь на край мира.

Кеминэ поднял на муллу свои колючие глазки и затряс бородкой.

— Э-э, — сказал он серьезно, — ты что-то перепутал, мулла! Я ведь не у учеников твоих пришел учиться, а у тебя. Я и стараюсь делать все, как делаешь ты. А если у меня что выходит не так, ты поправь меня, на то ты и учитель.

И он постарался сложить руки за спиной именно таким образом, как это делал мулла.

Пир плюнул в ответ и зашагал быстрее, говоря на ходу:

— Вот Шаали хорошо работает, и Мухаммед-Нияз прилежный ученик. А бездельников мне не нужно. Пусть убираются ко всем чертям, откуда пришли.

Кеминэ тоже зашагал быстрее и тоже стал говорить на ходу пронзительно и громко:

— Подумать только, как все врут люди. Мне-то говорили, что у Пира самые прилежные ученики; а я вижу — кроме меня, никто не хочет учиться у него как следует. И он же их хвалит. Нет, этот мулла совсем плохой учитель. Придется идти к другому. Хорошо, что я ничего пока не заплатил за учение.

Что мог сказать в ответ мулла, хотя сердце его и набухло гневом? А тут еще и другие ученики тоже побросали работу и позакладывали руки за спины, говоря:

— Ты сам говорил, что этого почтенного сопси мы должны слушаться, как тебя.

Солнце тем временем взобралось на самую верхушку неба, и глина быстро сохла. Что оставалось делать мулле? Пришлось ему самому скинуть халат и приняться за дело.

Тогда и ученики снова стали топтать глину и лепить кирпичи. Только Кеминэ не месил и не лепил. Он лег на сопу и потягивал чилим, о котором никогда не забывал ни в жизни, ни в песнях.

По дворам с начала года бродит он просить зерно.
Друг его — чилим из глины, с ним огниво заодно.
Табакom чадить от горя у него заведено,
А захочет молвить слово, слов не хватит все равно.
Дураком сидит на месте всеми брошенный бедняк.

Основу для этой песни Кеминэ взял из своей жизни. Только он, как и всякий шахир, не все оставил в песне так, как было в жизни. Слов у него всегда хватало на все, и дураком ему оставаться не доводилось. Это другие оставались, а не Кеминэ. Остался в дураках и мулла Пир. Пока старый шахир лежал у водоема и тянул чилим, Пир трудился не покладая рук, потому что, как только он садился отдыхать, бросали работу и ученики.

Пир гнул спину целый день, и пот так обильно смочил его рубаху, что, когда пришло время обеда, две тонкие струйки тянулись за ним по песку.

Мулла только теперь заметил, что Кеминэ опять ничего не делает. Но у него не хватило сил, чтоб ругаться. Он остановился против шахира, утер со лба пот, потом выжал рубаху, отчего на песке образовалась лужа, и сказал укоризненно:

— Что ж это такое? Да это разбойник какой-то, а не сопи! Чтоб показать пример, я работал, как верблюдов, а он разлегся, точно хан, и трубку сосет. Раз ты сопи, ты обязан учиться всему, что показывает мулла.

— Прости, великий мулла, если моя трубка мешает тебе, — ответил Кеминэ и отставил трубку в сторону. — Я говорил тебе, что я круглый неуч, а неуч никогда с одного раза не выучит весь урок до конца. Один день он учит одно слово. А придет новый день — и он учит другое слово. Сегодня я перенял от тебя, как надо складывать руки за спиной, когда другие работают, а завтра я буду работать так, как ты будешь работать завтра.

А назавтра Пир ожидал кази-раиса. И вовсе он не собирался работать ни завтра, ни когда-либо еще. Он забегал глазами во все стороны, как бы ища, что бы такое найти в ответ, и увидел Курбана, который тащил целый котел шурпы.

«Ну, погоди ж ты, чертов сопи, — подумал мулла, — у тебя во рту язык, что язык Кеминэ, так ведь и я все-таки Пир. Посмотрим, что ты мне сейчас ответишь».

И, отодвигаясь, чтоб было Курбану куда поставить котел, мулла сказал, улыбнувшись:

— Так, так! Значит, ты не в силах заучить весь урок сразу? Что поделаешь! Теперь мы приступим к следующему уроку. То я показывал, как надо работать руками, а теперь покажу, как должны работать желудки. А ты отойди в сторонку и тяни свой чилим, пока мы здесь займемся учением.

Мулла отломил хлеба и опустил его в горячую шурпу.

Что ж, Кеминэ, вот и тебе пришел черед стоять, точно плешивому, перед муллоу. Верно это ты сказал в своей песне:

А захочешь молвить слово, слов не хватит все равно.
Дураком сидит на месте всеми брошенный бедняк.

Только нет, никогда Кеминэ не оставался в дураках. Он внимательно выслушал муллу, поднял обе руки к небу, как это делают хивинцы, когда видят фокусника, который глотает огонь или что-нибудь такое же неудобное, и воскликнул с удивлением:

— Так зачем же тебя называют мулла Пир?! Раз ты учишь желудки, как им надо работать, ты, наверно, и проверяешь их работу. Учитель всегда проверяет работу учеников. Значит, ты не мулла Пир, а золотарь Пир, знаток выгребных ям Пир.

Подумайте, каким словом он обозвал почтенного муллу! Он сказал: «золотарь Пир». Сопи со смеху чуть не попадали наземь, а мулла махнул рукой, чтоб не слышать чего похуже, и Кеминэ немедленно придвинулся к котлу, пар от которого поднялся прямо в небо и стоял над головами учеников муллы, как развесистое дерево.

7

Хорошая вещь еда. Жареная кукуруза в масле — патрак. Или горячая шурпа с мясом, или сладкий плов. Свежий хлеб, как добрый ишак, дышит в руку ноздреватым теплом. Разорвал его на куски, кинул в казан и тащи пальцами. О всякой беде забудешь, когда потечет по губам бараний жир. А там принесли кислый чал. Он всякую жару снимет. На дворе пыль, зной, пот ручьями бежит под рубахой. А чал, как счастье, течет в желудок. Выпил миску — наливай еще. Небось мулле чалу не жалко, когда столько чужих верблюдиц пасется в степи. Мулла Пир был скуп, да обжорлив. Ничего не жалел для желудка. Бывало придет ночь, позовет Курбана или Мухаммед-Нияза и скажет: «Беги, Курбан, к иомудскому стаду, укради овцу, а рису я и своего не пожалею, целый котел плову наварим». Курбан при-

ведет овцу, а мулла плачет: «Хорошая овца, зачем ее резать, продать бы на базаре — и деньги в сундук». Но дряблое брюхо скучало без мяса. Махнет мулла рукой, утрет слезу и скажет, словно похоронную молитву читает: «Что ж будешь делать, режьте овечку, варите похлебку». Ученики мясо кидали в казан, а шкуру мулла продавал на базаре и выручку прятал в сундук.

И ведь до чего был прожорлив мулла. Иной раз не дожидется конца работы. Повесит чалму за оградой на ветку — пусть думают ученики, что он смотрит за ними, — а сам проберется к очагу и сожрет мясо. Сопи кончат работу, а мулла похаживает вокруг казана и головой качает: «Ой, беда какая, Курбан! Приходил иомуд, узнал свою овцу в котле; все мясо выловил, с собой унес. Вот теперь и хлебайте пустую шурпу».

Редко когда сопи ели досыта. А сегодня Кеминэ помешал Пиру нажраться до времени, и весь баран, как есть, лежал в казане нетронутым.

Сопи пополооскали руки и придвинулись к котлу.

Собрались они к Пиру из разных аулов. Язык у них был один, общий, язык всех туркмен-номадов¹, и песок под их ногами был один, и судьба их отцов одна, а ведь никто из них не считал своего соседа братом. Курбан — родом эрсари, и аул, где он родился, кочевал по Аму-Дарье. Так разве он уступит сарыку Дурды самый жирный кусок? Сарыки-то с эрсаринцами что сделали, когда вместе с текинцами теснили их в пески? То-то! Мухаммед-Нияз — чаудур. А чаудуры — это каждый скажет — такие канительщики! Они и между собой никак не договорятся. Вон четыреста кибиток их ушло через Астрахань на Кизляр, а столько же осталось в Хорезме. Хан посадил их по главным арыкам и водил в набеги на иомудов и текэ. Так что же, Мухаммед-Нияз станет зевать, когда иомуд Анна-Гельды уж и пальцы горсткой сложил, чтоб выхватить из казана зараз два куска? Как бы не так!

Были среди учеников и гоклены с Атрека и нухурцы с Сумбара. А разве нухурцы и гоклены так уж по-соседски жили друг с другом?

¹ Номады — кочевники.

Только Шаали и Баши оба назывались текинцами и хлебали шурпу мирно, не толкаясь.

Правда, Шаали был Утамыш¹, а Баши — Тохтамыш, так что, когда дошло дело до мяса, повздорили и они. Но все-таки, стоило Курбану задеть локтем Баши и тот в отместку толкнул его ногой, Шаали поддержал своего текинца: ладонью, в которой был зажат кусок жира, он так крепко смазал по лицу эрсаринца, что у того от горячего сала чуть не лопнули глаза. Курбан с ревом поднялся с кошмы, схватил в руки огромный кусок глины и кинул им в обидчика. Но метился он плохо, и поэтому глина угодила в рот салору Беден-Арслану. Тут вскочили и остальные. Схватившись, они стали кататься по песку, нанося друг другу удары куда и чем попало. . .

Только мулла Пир и Кеминэ не приняли участия в драке.

Мулла был из пришлого рода Махтум — и зачем бы ему заступаться за иомуда или эрсари? Он даже был рад, что ученики занялись другим делом. Пока они коленками и локтями отстаивали честь своих племен, мулла выхватывал из котла мясо кусок за куском и глотал не жуя.

Кеминэ во все глаза наблюдал за дракой, и крупные слезы катились по его худым щекам. Он так и не успел поесть, только плакал от жалости к бедным людям, которых невежество и голод лишили человеческого облика. А тут еще мулла в погоне за жирным куском невзначай толкнул котел. Горячая жидкость потекла по земле, обжигая дерущихся. Собаки, которых со всего города собрал шум битвы, стали хватать кости, в попытках кусая то руку, то ногу того или другого сопи. А один рыжий пес в охотничьем раже откусил ухо чаудуру Мухаммед-Ниязу. Тот заголосил, как бык, и, ногами разбросав товарищей, ухватил пса за горло. Тогда и остальные сопи постепенно отпустили один другого.

¹ Туркменское племя текэ делится на два колена: Утамыш и Тохтамыш.

С удивлением озираясь кругом, сопи вспомнили о еде.

Но мулла уже сделал свое дело. Баран весь, как есть, был в его желудке и мог бы, пожалуй, даже подняться там на все четыре ноги, если бы одну из ног вместе с хвостом не утащили из опрокинутого котла собаки.

Но Пир не обижался на собак. Он вытер усы и бороду, сотворил молитву и, притворно соболезнуя, смотрел на Кеминэ, по щекам которого продолжали капаться слезы — крупные, как зерна кукурузы.

— Что, друг мой, никак эти дурни ударили и тебя? — сказал он голосом, полным сытой ласковости. — Я всегда за обедом сажусь в сторонку от этих ишаков. Или, может быть, тебя покусала собака?

— Как же мне не плакать? — ответил Кеминэ серьезно. — Сегодня хивинский пес откусил ухо Мухамед-Ниязу, завтра он откусит у Курбана, а послезавтра у меня. Или в драке за едой мне переломают ребра. Я приехал к тебе набраться мудрости, а тут того и берегись потеряешь голову. . .

И он обеими руками обхватил свою голову, как будто и впрямь опасался за ее целость.

Мулла стал издеваться над ним:

— Э-э, да ты, бродяга, не только лентяй и обманщик. Ты еще и трус! Ну какой же ты после этого сопи!

Тогда Кеминэ перестал плакать, и в глазах его забегала улыбка.

— А ведь это было бы тебе как раз впору, мулла, чтоб у сопи кто-нибудь откусил голову, — сказал он. — Безголовых зачем учить грамоте, а работать в саду им даже легче. Не надо отрываться от дела, чтоб утирать пот со лба.

Мулле это так понравилось, что он стал хохотать, хлопая себя в восторге по ляжкам.

— Вот ты какой забавный человек, — говорил он, жмурясь от сытости. И так как сытого всегда тянет на беседу или на хорошую песню, мулла пристал к Кеминэ, чтобы тот прочел какую-нибудь газель или

забавную повесть. — Ты ведь ишки, — говорил он, — а ишки помнят стихов и песен не меньше, чем бахши. Почитай нам, пока мы, мои сопи и я, будем отдыхать после обеда.

Сопи, и верно, хотели отдохнуть, только не после обеда, а после драки. Они были голодны. Но и они стали просить Кеминэ прочесть им какую-нибудь газель, так как голодный всегда привык утешаться песней или сказкой.

Кеминэ был великий шахир. Пусть голос у него был хриплый, пусть у него болело сердце, — ум-то у него был чист. Он посмотрел на муллу, взглянул на учеников и сказал:

— Есть у меня одна забавная песня, какую сложил Зелили.

И стал говорить нараспев:

Дела идут из года в год,
Не улучшаяся нимало,
Поганых дел настал черед,
Пора грабительства настала.

Из года в год все вдвое долг,
Должник от горести примолк.
И снова просит денег в долг —
Ведь все ростовщиками стали.

Иные плачут за народ,
Подлец глядит и мясо жрет.
Кто пузо больше всех набьет,
Тому и почести пристали.

Тут мулла перебил его.

— Раз ты так много знаешь стихов, прочел бы ты что-нибудь повеселее, — сказал он, хмурясь. — Зелили был великий поэт, а только не всякое его слово к месту. Вон, слышал я, есть веселая песенка: «Ишак, ишак, торопись».

— Чёш, чёш¹, мулла, — оборвал его Кеминэ и продолжил песню, написанную не один десяток лет назад племянником великого Махтум-Кули, несчастным певцом Зелили:

¹ Чёш, чёш — так кричат, чтобы остановить осла.

Бедняк нейдет у хана в счет.
Кто милосердья бая ждет,
Пусть денег тот ему несет,
За взятку все решаться стало.

— Верно, верно, — согласился мулла, которого от стихов, как и от еды, всегда клонило ко сну. Он подложил под голову халат и вспомнил, засыпая, как дорого ему стоило откупиться от судьи, когда Курбан по наущению своего учителя украл из ханского стада двух верблюдов и попался в руки стражников.

Как горечь ни бурлит в крови,
На помощь лучше не зови.
Муллы, ишаны и сопи
Ростовщиками также стали, —

читал Кеминэ, а мулла уже почти спал. Он ничего не слышал, только все кивал головой и твердил:

— Верно, верно. . .

Весь жалкий скарб отнимет суд,
Кто прав, неправ — не разберут
И шкуру с бедняка сдерут, —
Ведь мясниками судьи стали.

О Зелили, темно вокруг,
Уже не элиф¹, а как лук
Твоя фигура, милый друг,
Худыми все, как змеи стали.

К счастью для муллы, разум его окончательно перешел из головы в брюхо. Глаза и уши его спали. Бодрствовал только желудок. Он урчал, изнемогал в борьбе с бараном.

Кеминэ читал чужие песни так же хорошо, как складывал свои. И как женщины всякий раз старались не проронить ни слова, когда поэт им говорил о любви, так и ученики, голодные и уставшие после драки, сидели неподвижно, слушая песни Зелили о несправедливостях и обидах мира.

¹ Элиф — первая буква арабского алфавита, символ прямы. Сравнение женской фигуры с элифом обычно для туркменской поэзии.

Сердце Кеминэ всегда было полно страсти.

Вот он увидел красивую женщину: лицо у нее как луна, черные розы вместо глаз, а брови — два крыла волшебной птицы Хумай, — и он уже не думает ни о воде, ни о пище. Он забыл, какого он рода и где кочет его аул. Дыхание женщины ему кажется его дыханием. Он смотрит на пустыню и всюду видит только след от ее ноги. Встало солнце на небе, и его лучи ему как стужа. Взошла луна. Но если женщина идет не оборачиваясь, луна ему кажется черной, как пузырь, наполненный кровью. Тогда он готов складывать стихи, рыдать и, как осел, кричать всему миру о своей беде. Но вот женщина улыбнулась и поманила пальцем, и он уже бежит от нее, потому что дрожь страсти, какая сжигает его сердце, выше земной любви. Тогда только пескам, только звездам, только всему обилию родной земли впору вместить его счастье. Тогда бы сесть на коня и с копьем в руках топтать врагов и остаться победителем. В такую минуту поэт забывал о шутках и складывал песни, какие знает наизусть каждый туркмен:

Ах, сколько песен я пропел твоей красе,
Хотя бы ты взглянула на меня, — напрасно все.
Скорее косу подыми с земли — она в росе.
Ни разу прикоснуться я не смел к твоей косе,
Чтоб, словно шелковинки, по плечу направить локоны.

Но это была одна страсть, а сейчас им владела другая.

Он только что видел, как десять туркменских юношей сцепились в драке из-за бараньих костей, а ведь у них у всех один язык и одна судьба. Вот на базаре ханский стражник избил дайханина, который в пыльном халате и с мешком в руках топтался на месте, не зная, куда ему идти с жалобой на муллу, — он подарил мулле двух баранов, а мулла увел вместе с баранами и последнего верблюда. Вот в степи лежат тела туркменских дайхан, которых зарубили такие же дайхане туркмены; убитым, подбивая их на битву, хивинский хан

сулил добычу, а старейшинам тех, кто убивал, шах персидский обещал жирные пастбища и стада. Вот он ездит всю жизнь по стране песков, из края в край, бедняк Кеминэ. И всюду номады бьют друг друга, отнимают жен и скот и разоряют кибитки. У мулл и сердаров растут животы, а бедняк гонит баранов с места на место: между коленями у него осел, в руках у него туюдук или дутара. Он ложится спать, обнимает жену, жует хлеб, пасет баранов; радуется, поет, плачет, умирает; слушает стихи Махтум-Кули — и никогда не спросит, почему у него только и есть, что дырявая кибитка да пропотевший халат.

Когда эта страсть закипала в сердце, Кеминэ снова забывал, какого он рода и где кочует его аул. Тогда он переставал смотреть на женщин и складывал песни, послушав которые, дайхане сжимали кулаки и с тоской спрашивали друг друга: когда же придет конец их бедё? Неужели не раньше, чем они полягут в могилы?

Он никогда не знал, когда эта страсть овладеет им и когда отпустит.

Один раз он полюбил красавицу вдову, у которой волосы были как шелковая паутина и имя которой Огуль-бек. Он нанялся к ней батраком, таскал дрова, носил воду, не жалея своих слабых сил. И, не уставая, он говорил о любви, в надежде, что хозяйка пожалеет его и откроет ему свою красоту. Так и вышло. Один раз, согнувшись в три погибели, он тащил вязанку саксаула и очень устал. Был дождливый, холодный вечер, и Огуль-бек пожалела батрака. . . Когда она готовила постель, Кеминэ сказал, что хотел бы иметь памятку об их любви. Огуль-бек подумала, что он просит денег. Она кинула ему шелковый халат покойного мужа и воскликнула, смеясь: «Беда с этими нищими: они за все просят платы, даже когда помогаешь им во всем». И достаточно было этих слов, чтобы в одну минуту страсть любви погасла в сердце Кеминэ и ее заменила другая страсть, страсть ненависти к богатым. Сердце его не терпело, когда бай смеется над бедняком. В гневе он откинул одеяло, отрезал локон с головы Огуль-бек, сел на осла и отправился через степи в город. Он

не хотел выпить даже одной чашки чая в кибитке на-
смешницы.

По дороге он и сложил ту песню, какую знает ка-
ждый туркмен с малых лет.

Выходишь ты, как тигр идет на лов, — твой тонок стан;
Посмотришь ты — замрет моя душа, я снова пьян.
Плетешь ты косу, точно для меня плетешь аркан.
Горячий уголь у меня в груди, в глазах туман.
И тщетную защиту я ищу: как змеи локоны, —

начиналась эта песня, и в ней с одинаковой силой ска-
зались обе страсти. Признавшись в неубывающей люб-
ви к богатой вдове, Кеминэ в последней строке мстил
всем, кто, подобно Огуль-бек, только богатством изме-
ряет цену людей:

Что ж, Кеминэ, вот в розовых кустах луга вокруг,
Ищу тебя и не могу найти среди подруг.
О, выходи, вынь розу из моих бессильных рук.
По тысяче туманов волсок? Приди на луг.
Наличными тебе я заплачу за злые локоны.

На базаре Кеминэ стал прицениваться к халатам,
сшитым из шелка. Продавец, видя его бедную одежду,
сказал, что у старика не хватит никаких средств, чтоб
заплатить за покупку. Тогда Кеминэ вынул локон
Огуль-бек и кинул его продавцу.

— На, получай, — сказал он, — я за все плачу на-
личными. За эту вещь мне предлагали халат, который
стоит твоей рубахи.

Обе страсти шли рука об руку в сердце поэта. Но
сейчас им владела только одна страсть — ненависть к
мулле. Он отодвинулся от Пира подальше и читал
стихи, какие подсказывала ему эта страсть.

Он окончил, и сопи молчали. И только Курбан ла-
донью ударял себя в грудь, выкрикивая:

— О, алла, продолжай, продолжай, пожалуйста!

Остальные сопи сидели молча, вспоминая каждый
свой аул. А Мухаммед-Нияз одной рукой прикрыл
рану, а другую руку положил на Курбаново плечо.

Кеминэ смотрел на них, и страсть, горевшая в его
сердце, постепенно остывала. Он снова был веселым

шахиром, готовым на смех и на выдумки. А может быть, это та же страсть сыскала для себя другую тропинку.

— Что ты делаешь, Мухаммед-Нияз? — вскричал он с испугом. — Сними скорей руку с плеча эрсаринца и заткни себе уцелевшее ухо. И ты, Шаали, и ты, Баши, — обернулся он к ученикам, — что я вижу? Почему вы не спите? После обеда сытый всегда спит.

— Мы слушаем тебя, — ответили ученики, не понимая его.

— Удивительное дело, — сказал тогда Кеминэ. — Те песни, что я читал, сложили Махтум-Кули и Зелили, а оба они гоклены из рода Когезов. Я думаю, их станет слушать один Кара-Дели, он здесь гоклен. А вы сарыки, салыры, иомуды, текэ и эрсаринцы. Разве вам не противны песни иноплеменников? Даже из одного котла вы не стали есть вместе и чуть не поубивали друг друга. Или только животы у вас разных племен?

И, приковав к себе такими словами внимание учеников, он долго разговаривал с ними и смеялся над муллами и баями. И сопи, слушая его, думали, что как бы хорошо было, если бы мулла Пир вдруг подох и этот бедняк стал бы их учителем.

— Говори, пожалуйста, говори еще, — просили они. — Только потише. А то мулла проснется.

Лишь Курбан, который был моложе всех и ничего не боялся, громко сказал Кеминэ:

— Вот ты какой умный и хитрый человек. Сделай так, чтоб мулла никогда не просыпался. Тогда он не будет посылать меня красть баранов и не будет заставлять всех нас работать, точно мы его рабы.

Что ж, Кеминэ сделает это. Затем он и утруждал своего старого осла, торопя его в Ташауз, через сухие и жаркие пески.

Пир продолжал храпеть на всю усадьбу, когда за стенами дома раздалось громкое ржание и два молодых иомуда на всем скаку, не сдерживая коней,

влетели в ворота. Коня их были в пене. Было видно, что они ехали издалека.

— Мулла Пир, мулла! — кричали они голосами, пересохшими от жажды. — Где тут ваш проклятый мулла?

Потом они увидели Кеминэ, окруженного молодыми сопи, и, приняв его за Пира, соскочили с коней и упали перед ним на колени.

— Почтенный мулла! — заголосил тот, у кого нож был длинней и папаха богаче и выше. — Мы знаем, время позднее, и ты утомился. Но отец заплатит тебе за беспокойство. У нас в кибитке беда. Брат отца возвращался с охоты, а какой-то сумасшедший текэ подстерег его на дороге и молотком размозжил ему голову. Правда, дядя успел выстрелить разбойнику в ногу и ударить коня плеткой, но когда лошадь донесла его до аула, он был наполовину мертв. Позвали табиба, только и табиб не справился со смертью. Дядя помер. Откуда достанем муллу? Отец послал за тобой. Садись на коня. Едем.

И они повторили снова:

— Отец сказал, что не пожалеет ничего, чтоб отблагодарить тебя.

Кеминэ выслушал все, что ему сказали приехавшие, и ответил, подумав:

— Тот почтенный человек, что спит возле джиды, назвал меня обманщиком, лентяем и трусом. Если он прав, я вполне мог бы быть муллой. Но он ошибся. И долгий путь, верно, сильно истомил вас, раз вы меня спутали с Пиром. Протрите глаза: похож ли я на Пира? А потом прочистите ноздри, и тогда вы сразу найдете муллу.

Всякий туркмен слышал про жадность и прожорливость Пира, а у Кеминэ никогда не было живота, и одежда на нем была плохая. Поэтому племянники убитого сразу поняли свою ошибку.

— Прости нас, почтенный человек, — сказали они, — но ты здесь самый старший, а про того, кто спит, мы подумали — это убитый кабан.

И, заткнув носы, они принялись толкать Пира.

Это было очень не простое дело — разбудить муллу,

когда тот спал после обеда. Чего только не делали с ним иомуды! Они чесали ему пятки, дули в ноздри, мяли живот. А ведь если дуть в ноздрию, то даже мертвый проснется, чтобы чихнуть. Но мулла Пир не просыпался и не чихал. Тогда иомуды подняли его с ковра и поставили на ноги. Он продолжал спать. Они хотели втащить его сонного на коня, но для этого надо было держать коня под уздцы. А чуть только один отпускал муллу, как мулла снова падал на землю, так как другому было не под силу удержать в равновесии такую жирную тушу.

Солнце тем временем упало за дувалы. Джидра протянула свои тени через сад. Денной жар ушел. Его место заступили темнота и прохлада. В песках залаляли шакалы, и откуда-то из города доносились песни хивинских аскеров. Это на базар вступил отряд, следом за которым двигался сам кази-раис.

Ночь на золотом челноке луны начала свое обычное плаванье.

Когда иомуды совсем измучились. Кеминэ сказал: — Да вы не тратьте сил зря, шепните два слова: «Дядя помер», — и он сейчас же проснется. Мулла, как и шакал, чувствует мертвого даже во сне.

Муллу, услышав шепот, тотчас открыл глаза, обдернул халат и поправил чалму, точно и не спал. Курбану он велел немедленно седлать кобылу, Шаали — принести теплый халат, а Баши послал за дорожной шапкой, так как путь предстоял не близкий и мулла опасался простуды.

Потом он осведомился об имени убитого и покачал головой: кто его знает, богатый это человек или бедный, — но на всякий случай решил прихватить с собой и помощника-служку.

— Кто из вас, — обратился он к сопи, — умеет читать похоронную молитву?

А ученики что умели? Месить глину да таскать навоз. Один Кеминэ умел и знал все. Мулле очень не хотелось брать с собой болтливого бродягу. Но не мог же он ехать один! Мулле со служкой и заплатят вдвое, да вдвоем и не так страшно в песках. За этих чертей колтоманов никогда нельзя поручиться: они не

посмотрят, мулла ты или не мулла, — возьмут да и выпустят из тебя все кишки вместе с их святостью.

— Да ты умеешь ли драться-то? — спросил мулла у Кеминэ, взваливая на свою смирную, но быстроногую кобылу.

— Увидишь, мулла, увидишь, — загадочно отвечал Каминэ, закладывая ослу целую охапку клевера.

Мулле так захотелось получить скорее то, что ждет его в ауле, что он от волнения чуть не свалился с седла и кричал непрерывно:

— Поторапливайся, поторапливайся! Завтра мне принимать самого кази-раиса. Ишь ведь, как копаются! Иль ты думаешь, покойник сам прибежит в Ташауз?

На что Кеминэ отозвался совсем непонятно:

— Это ты верно сказал, мулла. Мертвому в Ташауз не вернуться, если даже он едет на самой быстроногой кобыле.

Исмуды ускакали далеко вперед. Мулла уже выехал за ворота. Тронул и Кеминэ своего осла, и густая ночь упала на плечи всадников, как одеяло.

10

На свою беду мулла Пир позвал с собой Кеминэ. Только ведь он не знал, что этот бродяга — Кеминэ. Если бы знал, он бы от всяких покойников отказался и уж, конечно, не стал бы дожидаться, пока Кеминэ оседлает осла да еще вздумает кормить его перед поездкой. Он бы стегнул свою кобылку и поскорее ускакал с иомудами. Пусть старик поспевает за ними как хочет. Кобылка хоть и смирна, а пока осел два шага сделает, она — двадцать. Осел еще и через арык не перебрался, — она уже в степи. Осел дотрусил до первого бархана — а ее и след песком занесло.

Сколько раз потом, когда зажили все шишки и синяки, что оказались единственной наградой мулле за его молитвы, Пир ругал себя последними словами!

Ну как было с первого взгляда не разобрать, кто этот попрошайка с бородой, как у кесе¹, и в шубе из ста заплат! Разве есть такой второй на степи? Его бы палками гнать до самого Серахса. «Беги, пес, в свою конуру и околевай там на сене и к добрым людям не приставай». Так ведь нет, сидел, ждал на лошади, чтоб как-нибудь осел не отстал. Сам кричал в темноте: «Торопись, торопись, друг, ночь темна, а мало ли лихих людей в песках!» Вот Кеминэ и поторопился. И, главное, что обидно! До аула, может быть, не больше часа оставалось, уж и далекий лай был слышен, и дымком потянуло, как Кеминэ перестал откликаться. Тут бы и бросить его ко всем чертям, да еще собак науськать или шепнуть чопану, что «вот, видели в песках на осле старого разбойника, бегите к нему и убейте, пока он не добрался до аула и не зарезал вас всех». Нет, Пир шепнул чопану совсем другое. Сказал: «Там, в степи, на осле служка муллы, мой помощник, заблудился; найдите его и поторопите».

Совсем аллах отнял разум у великого муллы.

...Пир лежал в своем новом пустом доме и шурил уцелевший глаз, на который то и дело набегала слеза злости, когда он вспоминал, как отделал его в ауле у иомудов этот черт Кеминэ.

К погребению служка тот раз все же опоздал. Да и мулла приехал в последнюю минуту. Старухи уже перевязали тесемками большие пальцы на ногах покойника. Брат убитого, Хал-Мурад, притащил две сухие жерди и приколотил к ним поперечные палки, чтоб мертвому, когда его призовет аллах, легче было выбираться из могилы на небо; и уже была вырыта на холме яма, куда посадят убитого², когда мулла на своей быstroногой кобылке прискакал в аул.

Пир едва успел вытряхнуться из седла, как начал читать то, что и полагается читать в таких случаях. Правда, он все же успел шепнуть брату убитого:

¹ Кесе — персонаж многочисленных народных туркменских сказок — ловкий, хитрый человек.

² По старому обычаю мертвых зарывали в могилу в сидячем положении.

— Я не один. Там у меня помощник — служка. — И добавил: — А у двоих и рук не две, а четыре, и ртов не один, а два.

Хал-Мурад с испугом взглянул на муллу. Брюхо Пира так расколыхалось за дорогу, что продолжало ходить из стороны в сторону, даже когда он вошел в кибитку, точно у него под халатом спрятан баран, который мечется туда-сюда и не знает, как выбраться.

«Ой, — подумал с тоской Хал-Мурад, — если и служка у него такой же, никакого угощения не хватит...»

Мулла тем временем сложил руки, как привык складывать, приступая к молитве, и сказал громко:

— Для тех, кто погиб от руки неверного, смерть не огорчение, а одна радость. Пророк ставит им в райском саду самую белую кибитку. Брата твоего убил текинский колтоман, а разве текэ не хуже любого неверного!

И, сказав так, он поднял обе руки к небу — не то для того, чтобы показать величие милости аллаха, не-то, чтоб намекнуть хозяину на размер вознаграждения, какое мулла хочет получить за свою молитву.

Хал-Мурад был бедный человек и многого не знал в жизни. Но годы его были немолодые, а сыновья ходили неженатые, не хватало калыма на покупку жен, и он вовсе не хотел отдавать мулле последних барашков.

Он обернулся к старшему сыну и сказал так же громко, как говорил и мулла:

— Дурень ты у меня, Юсуп! Надо было во-время позвать хорошего табиба. Может быть, брат и остался бы жив, и не пришлось бы звать муллу. А ты привел Фата-Пархана, который сам еле стоял на ногах. Пословицы никогда не врут — а разве ты не слышал, что нельзя верить худому табибу?..

Дальше в пословице говорилось, что нельзя также верить и толстому мулле; поэтому Пир немедленно во весь голос стал призывать благодать аллаха к душе покойного.

И было так, как будто брат убитого и не сказал ничего.

Мулла окончил молитву. Тело убитого положили на лесенку и быстрыми шагами понесли к могиле.

Там мулла опять сказал несколько святых слов. Покойника поместили в вырытую яму, заделали отверстие кирпичом и замазали глиной. А потом провожавшие торопливо побежали с холма, боясь услышать, как к душе умершего приступят строгие духи Мюн-Кюр и Накир и начнут задавать свои вопросы: «Был ли ты в общине Магомета?», «Что сделал для прославления имени пророка?» — и еще другие вопросы, после которых душа только и может надеяться на уютное местечко в садах аллаха.

В эту минуту к аулу и подъехал Кеминэ.

Он задержался на гребне высокого бархана, ухватил обеими руками ухо осла и сказал в него, как в трубу:

— Чёш-чёш!

Осел всегда слушался хозяина. Он слышит «кх-кх» — и идет вперед; хозяин сказал «чёш» — и осел стоит.

Теперь Кеминэ сказал «чёш» — и осел дал покой своим старым коленям.

С холма Кеминэ видел все, что творится в ауле.

Иомуды, боязливо оглядываясь, торопливо бежали от новой могилы к жилищу Хал-Мурада. Кибитки под лучами солнца казались черными, точно муравьиные кучи. Старухи, кашляя, тащили из песков вязанки саксаула. Женщины хлопотали у печей. Только ребята, взявшись за руки, широким кругом обступили могилу. Они топырили уши, как ослы, пытаясь услышать хоть одно слово, какое убитый произнесет в ответ на неслышные вопросы Мюн-Кюра и Накира.

Но строгие духи не любили, чтоб собеседник орал во все горло, и дети не слышали ничего.

Бедный иомудский аул! Ни куста в нем, ни дерева. Дым очагов встает со всех сторон как сто столбов. Дремлют собаки. Девушка тащит от колодца пузатый кувшин. Тело девушки тонкое, как элиф, но она

скорей прольет на песок ручьи слез, чем уронит хоть каплю из кувшина. А в Ташаузе сопи льют воду ведрами, делая кирпичи для нового дома муллы.

Из кибитки Хал-Мурада поднимается пар. Бедняк все-таки зарезал двух баранов, чтобы отблагодарить муллу. А хромой барашек в стороне — награда мулле за молитву. Вон и сам Пир впереди всех спешит к котлу. Тут уж драки не случится. Это все один род, одно племя — иомуды. Они мирно сядут вокруг котла. Только мулла не иомуд, он махтум. Но и он пусть не беспокоится, самый жирный кусок — его. Муллу никто не спрашивает, откуда он родом; ему отдают лучший кусок и идут дальше своей дорогой.

А вон и племянники покойного седлают коней, торопятся ехать к текинцам, чтобы отомстить за смерть дяди.

Бедный туркменский аул.

Страсть тоски по народному горю опять готова была закипеть в сердце Кеминэ, как только он подумал, что любой иомудский аул похож на любой текинский аул, как и один бедняк похож на другого бедняка: один у них язык и одна судьба, и не видно конца их горькой доле.

Он постучал рукояткой ножа по шее осла и сказал решительно:

— Почтенный мулла Пир опасался, что мы опоздаем. Так поторопимся же, пока котел не остыл. Кх-кх!

11

Кеминэ всю жизнь был бедняком, и не было для него милей человека, чем бедный человек.

Рассказывали, что один раз ночью, когда Кеминэ жил среди Токлы-яшеноков, пробрались в их аул два беглых раба. Они ударили кирпичом своего хозяина-хивинца, который заставлял их работать наравне с верблюдами, и теперь торопились домой через пески, в родные края.

Днем они скрывались от людей, а ночью тихонько резали баранов или шарили по кибиткам. Возле шатра

Кеминэ не было псов, охраняющих в каждом ауле сон того, кто спит, и воры спокойно отдернули кошму. Кеминэ не спал. Укрывшись шубой, он подбирал слова для новой песни про аульного бая Кара-Юсупа. Когда воры вошли, шахир не испугался. Он только рассердился, что они спугнули строчку, уже певшую где-то в его сердце.

Труслив и жирен черный бай,
Он на базар привез невесту.
И если спросишь невзначай...

Когда воры вошли, Кеминэ закрыл глаза и притворился спящим. погоди, Кара-Юсуп, что ты скажешь, когда бахши на свадьбе твоего сына возьмут дутару и... слушай, слушай... Кара-Юсуп:

Он на базар привез невесту...

Но воры не уходили. Они знали, что это был аул Токлы-яшеноков, которые, спасаясь от хивинцев, покинули Серахс. Значит, было им что́ спасать. Воры опустились на четвереньки и руками ощупывали кошму, полагая, что именно под кошмой прячет хозяин деньги, и шелк, и драгоценное платье. Они ощупывали каждый комок глины, каждый бугорок. Но что они могли найти у Кеминэ? Сучок саксаула, занесенный сюда какой-либо женщиной, которые не в пример мужчинам любили шахира? Или щепотку табаку?

Кеминэ ждал терпеливо и не говорил ничего, хотя ему порядочно надоели возня и шепот колтоманов. Но вот один из воров невзначай провел ладонью по лицу поэта, и Кеминэ не выдержал.

— Да вы совсем дурни, — сказал он сердито, — ночью пришли шарить там, где я и днем-то ничего не найду. — И, внезапно рассмеявшись, он пропел:

Труслив и жирен старый бай.
Он на базар привез невесту...

Колтоманы так испугались этого веселого голоса, хриплого смеха и стихов, что разом кинулись вон из кибитки. Только ведь это была не настоящая кибитка,

в которой самый высокий туркмен может стоять, не снимая папахи. Это был шатер из кошмы и кольев. А один из воров был здоровенный детина. Вскочив, он стукнулся головой о колья, перехваченные ремнем, и, подумав, что это Кеминэ ударил его палкой, закричал благим матом и кинулся бежать. Кошма упала ему на плечи, как халат, и жилище Кеминэ тронулось со своего места.

Веселый поэт остался лежать в степи, а рядом с ним валялся второй вор, который, не двигаясь, ждал смерти.

— Погоди ты! — закричал тогда Кеминэ тому, кто огромными прыжками удалялся в степь, волоча на своих плечах жилище поэта. — Не торопись. Если вы явились перевозить меня на новое кочевье, надо было предупредить заранее, я бы хоть имущество собрал.

И, скатав кошму, на которой лежал, он пустился догонять свой шатер.

Спящие в соседних кибитках проснулись, и сын Кара-Юсупа выглянул в степь. Опомнившись, залаяли собаки.

— Что такое, Кеминэ? — встревоженно спросил байский сын. — Никак, колтоمانы пробрались в аул? Погоди, я разбужу соседей.

— Какие колтоمانы! — ответил Кеминэ на бегу. — Я хотел заснуть, да храп твоего отца помешал мне. Вот я и попросил добрых людей перенести мой шатер подальше от байской глотки. — И закричал, как будто и действительно просил колтоманов помочь ему переселиться: — Стой, ты, стой! Остановись! Я не собираюсь спать посреди арыка. Вот так, теперь осторожней. Смотри, как бы колом тебе не повредило шеи. А где твой друг? Вы подрядились работать вдвоем. Ну-ка, брат, нечего отдыхать. Подсоби ему.

И колтоمانы работали целый час: рыли ямы для кольев и наново крепили верхушку шатра. И даже показали Кеминэ, как надо подворачивать кошму двойной складкой, чтобы тепло было спать, когда на небе взойдет звезда Ялдырак и с Аральского моря потянет холодный степной ветер...

Кеминэ как вошел в кибитку Хал-Мурада, так сразу и опустился на кошму возле входа, где чопаны и бедные родственники молча сосали кости, какие им достались после старших гостей.

Но мулла, увидев службу, немного потеснился и сказал громко:

— А вот и мой служба-сопи. Садись, садись сюда. Место ученика всегда рядом с учителем. — И добавил, обращаясь к хозяину: — Очень это трудное дело — обучать учеников. Два часа в сутки они читают Коран и Хафтиаку, а остальное время сидят без дела и просят есть. И мулла их должен кормить. А откуда взять столько баранов и хлеба? Вот когда случится беда и умрет какой-нибудь туркмен, ну, тогда родственники покойного отблагодарят муллу. Но, слава аллаху, туркмены живут долго, и быть муллой — это очень трудное дело.

Хал-Мурад опять не сказал ни слова. Он сидел как истукан и хлебал шурпу, словно забыл, что молитвы давно прочитаны и мулле время возвращаться в Ташауз.

— Туркмены живут долго, — продолжал мулла, — и жили бы еще дольше, если бы их не убивали ударом молотка по голове или ножа в живот. Никогда не надо прощать обидчику, как никогда не надо оставлять муллу без награды.

Страсть печали по судьбе бедняков, охватившая сердце Кеминэ, не дала ему спокойно проглотить и одного куска мяса. Он быстро поднялся и сказал, глядя на муллу:

— Там, я видел, сыновья почтенного Хал-Мурада собираются в погоню за текинцем, убившим их дядю. Кончай, мулла, есть, поедем с ними. Они ли убьют колтомана, текинцы ли убьют их — нам все пожива.

Но сыновья Хал-Мурада как раз в это время вошли в кибитку. Они возились у коней вовсе не затем, чтоб гнаться за текинцем, убившим их дядю. Они сняли с коней седла и сложили их там, где валялась всякая домашняя утварь.

Какая это была жалкая утварь! Мулла готов был

плакать от досады, когда оглядел ее. Ни серебряных уздечек, ни дорогих стремян, ни блестящих украшений. Простые деревянные седла и ремни, каких постыдится самый бедный лавочник в Ташаузе. «Но, может быть, баранов у него не счесть, — стал себя утешать мулла. — Эти дикари не понимают толку в дорогих вещах. У него тысяча баранов бродит по пескам, а он седла порядочного не купит».

И так как Хал-Мурад попрежнему хлебал шурпу и ни слова не промолвил о награде, мулла решил действовать напрямик.

— Хорошо в раю, — начал он тем голосом, каким всегда читал молитвы, торжественным и густым. — Там есть все, чего не хватает правоверному на земле. Круглый год там цветут деревья, и тень от них так густа, что даже днем райский житель не испытывает жажды; а захотел пить — на деревьях персики и урюк. Поднял руку и рви. Вши тебя заели — скинь рубашку и купайся в хаузе¹. Никто не прогонит. А потом ложись спать, и к тебе придет самая красивая женщина, о какой ты хоть раз мечтал на земле.

На то Пир и был муллой, чтоб говорить красиво. Даже Хал-Мурад заслушался и отвалился от котла. «Да уж не плюнуть ли на эту собачью жизнь, — подумал он, — и поскорей отправиться вслед за братом». Один Кеминэ как будто не торопился в сады аллаха. Он опустился на кошму и хлебал шурпу с такой жадностью, что чавканье его далеко разносилось по пескам.

— Послушай, сын мой, — обратился к нему мулла укоризненно, — нехорошо так чавкать. Смотри, как ем я: тихо и благородно.

Лучше бы он не трогал Кеминэ! Ведь Кеминэ все делал неспроста. Пир сделал свое замечание, а Кеминэ выставил вперед бородку и посмотрел на муллу глазами, в которых ничего не было, кроме злости.

— А я слышал, мулла, — сказал он, — что только вор, когда подбирается к чужим баранам, старается все делать тише. Мне чужие бараны не нужны, и я ем как хочу.

¹ Хауз — водоем.

Сыновья Хал-Мурада стали смеяться, и чопаны тоже, а мулла пробормотал про себя:

— «Ну, погоди ж ты, старый бродяга», — и продолжал громко: — Хорош и велик рай. Всякий, кто попадает туда, проклянет каждый день жизни на земле. Скажет: «Зачем я так долго бродил по пескам, и копил богатства, и кормил баранов? Лучше б мне было умереть в тот миг, когда моя мать родила меня».

Мулла умолк, уронив бороду на халат. На глазах его выступили слезы.

Хал-Мурад молчал. Он видел эти слезы. Видели и остальные. Даже чопаны перестали грызть кости и уставились на муллу.

— А как же попасть в сады аллаха? — произнес наконец Хал-Мурад полупшепотом.

Наконец-то он открыл рот! Мулла того и ждал. Теперь не отделаться тебе одним барашком. Держись, Хал-Мурад!

— Перед входом в рай, — начал мулла снова, — течет бурная и большая река. Ни вплавь, ни в лодке ее не переплыть. Вода в ней горячая, и всякий, кто сунется туда, пойдет на дно.

Показывая, как это будет, мулла опустил кусок хлеба в котел. Хал-Мурад заглянул в котел. Вода в нем была горячая.

— Но не нужно отчаиваться, — продолжал мулла. — Можно все-таки перебраться через этот поток. Ведет через реку мост по названию Тульфат. Он прямо упирается в ворота, за которыми раскинулись сады аллаха. Только мост тонкий, как лезвие ножа.

Тут вся кибитка, полная гостей, стала как бы одним большим ухом. Это ухо жадно ловило каждый звук, вылетавший из глотки муллы. А мулла замолчал. Он сказал — и умолк. Только слышно было, как шурпа переливается и закипает в его кишках.

— Да как же пройти-то по такому мосту? — с тоской воскликнул хозяин, а за ним и гости стали волноваться и выкрикивать разные слова:

— А проходил ли кто по этому мосту?

— Может быть, в раю-то один аллах под ручку с Мухаммедом гуляет, а больше и нет никого?

— Вон в Мерве, — сказал задумчиво младший брат хозяина, — через Мургаб бревно перекинута, и то не пройдешь. А тут — как лезвие ножа.

— О, алла...

А один совсем невидный родственник, который сидел неподалеку от чопанов, даже рукой махнул:

— Этот рай, выходит, для одних фокусников. Ходил я в Бухару с шерстью, видел, как киргиз по канату бегают. Интересно!

Мулла того и ждал. Ведь и певец самое трудное колено припасает к концу. Он поет протяжно и тихо, и гости слышат лишь, как пальцы постукивают по дудке да шелестит халат. А потом вдруг закидывает голову, и в горле его словно проснулся жаворонок. Певец начал самое трудное колено — секдирмек. Вены на его шее надулись и стали лиловыми, даже губы он сжал плотно, а невидимый жаворонок поет и поет. Вот он сел на землю, вот взлетел. Крылья трепещут в синеве. Кадык певца дрожит. Губы сжаты. А слушатели готовы плакать, и смеяться, и бежать за силком, чтоб не упустить птичку: «Пой, жаворонок, пой! Хочешь, возьми сердце мое в пищу. Сядь в груди моей, как в клетке. Только пой!...»

У муллы жилы на лбу стали лиловыми, когда он сказал протяжно, точно пропел:

— Это очень нетрудное дело — перейти по мосту в рай. Надо только не скупиться и жертвовать мулле баранов. Когда умрешь, эти бараны побегут через мост, ты уцепишься за их шкуры и живо очутишься в раю. А кто в этой жизни думал отделаться одним угощением, наварил шурпы — и все, тот с котлом в руках пеший будет перебираться через Тульфат. Если он фокусник, может быть, он и попадет в рай.

Мулла окончил песню и, торжествуя, смотрел на Хал-Мурада.

Бедный Хал-Мурад! Бедный неученый иомуд! Ты и не знал, что у муллы Пира всегда найдется такое слово, после которого тот, кто хотел дать одного барана, даст десять. Ты отобрал для муллы хромую овцу и молчал весь обед, чтоб подсунуть подарок, когда мулла уже сядет в седло, — поди разбери, хромая овца или здоро-

вая, когда ее, связанную, положат на коня. Вот ты сидишь, бедный Хал-Мурад, склонив голову, и слезы катятся по твоей бороде. Бедный, осиротевший иомуд. У тебя не осталось старшего брата, не останется и баранов — их всех уведет с собой в Ташауз мулла Пир.

Вот ведь какую грустную песенку пропел жаворонок.

Но только мулла приехал не один, с ним был и его служба, Кеминэ.

Кеминэ кончил хлебать шурпу и, не слушая муллу, громко обратился к чопану:

— Скажи-ка, друг: доводилось тебе когда-нибудь гонять баранов?

Чопан в это время думал сокрушенно, что надо бы и ему на всякий случай подарить одного барашка мулле. Он даже не повернул головы в сторону Кеминэ и ответил хмуро:

— Каждый день я пасу баранов.

— Ну, а приходилось ли тебе гонять баранов по мосту?

— Какие у нас мосты, — ответил чопан, — один у нас в степи арык, и тот пересох давно. Мы его вброд переходим.

— Ну, а если по мосту гнать, — не отступал Кеминэ, — как легче управиться с баранами — когда их много или когда их мало?

Ишь куда гнул бродяга! Мулла повернулся к нему всем своим брюхом. Хал-Мурад приложил ладонь к уху, а второй чопан, который весь обед сидел тихо, не утерпел.

— Ученый ты человек, — обратился он к Кеминэ, — а про такие пустяки спрашиваешь. Да разве баранов по мосту гнать можно? Если встретился арык, тут уже рук не жалей, сажай каждого на плечи, как сына, и тащи на себе. Не то все стадо загубишь. Баран — какое животное? Лезут враз, толкаются. Один упадет — и остальные с моста в воду поскачут.

Тут уж Кеминэ мог дать волю своей страсти.

— Какой ты шутник, мулла! — вскричал он весело. — Никогда ничего прямо не скажешь — все с прибаутками. Ты видал, что Хал-Мурад для тебя барапка

приготовил, и остерег его от такого подарка, чтоб ему на том свете с моста не сорваться.

И обернулся к Хал-Мураду:

— Хозяин, ты благодари, благодари доброго муллу и пусти своего барашка обратно в стадо. Мулла зря словами кидаться не будет.

И когда хозяин стал кланяться мулле и благодарить его, Кеминэ обратился к сыновьям Хал-Мурада.

— А вы что сидите сложа руки? — закричал он. — Не слышали, что сказал мулла? Берите скорей луки и бегите в степь, застрелите ворона в подарок мулле. Ворон живо вас в рай перетащит на своих крыльях. А если двух подстрелите — и того лучше. Мулла из них себе чучела набьет.

Сыновья Хал-Мурада — проворные ребята. Они живо сорвали со стен луки и убежали в степь, а мулла Пир вскочил с кошмы и, икая от злости, кинулся к выходу.

«Погоди, негодный сопн, — думал он, громоздясь на свою кобылу, — выберемся из аула, вернемся в Ташауз, там тебе кази-раис покажет чучело».

Но только мулла зря рассчитывал так скоро выбраться из аула. Уж если Кеминэ с кем решил поквитаться, так расквитается до конца. Не успел мулла ногу вставить в стремя, как шахир подскочил к нему и всплеснул руками.

— Ай, ай, ай, мулла, — закричал он, — да ты, никак, на кобыле приехал! Ну как тебе не совестно! На кобылах одни бабы да ребята ездят, а всякий туркмен выбирает себе жеребца погорячей. Что будут говорить иомуды? Они скажут: «Мулла Пир трус; мулла Пир баба». Да они тебя ни на какие похороны теперь не позовут. Разве баба может читать молитвы? Ее никакой пророк слушать не станет.

Не надо было мулле связываться со служкой. Но ведь туркмены такой народ: начнут брехать по аулам, что мулла Пир трус, и впрямь его больше не позовут на похороны. И чтобы не оставить насмешку без ответа, мулла, лихо вскочив в седло, сказал весело:

— Мне, чтоб учеников кормить, много денег нужно. А откуда я их возьму, раз иомуды не заботятся о не-

бесной жизни? Я и купил кобылу. Она и бегают быстро и каждый год приплод приносит. Я в нее деньги, как в казначейство, положил. Ходи только и получай проценты.

И тут Кеминэ сказал такое, после чего мулла Пира уже никогда не приглашал ни один иомуд и ни один текэ ни на похороны, ни на свадьбу.

Мы не станем повторять, какие слова сказал Кеминэ про Пирово казначейство: его слушали мужчины, охочие на соленую шутку. Скажем только, что уж и смеялись туркмены!..

Мулла ударил кобылу плеткой и ускакал в степь. Кеминэ, догоняя его, тоже успел скрыться за барханами, а чопаны и дайхане, стоя возле кибитки Хал-Мурада, долго смотрели им вслед и хохотали так, что слезы дождем падали на песок.

— Да это, верно, сам Кеминэ был, — говорили они. — И борода у него как у кесе, и шуба в заплатах.

И остальные тогда поняли, что это был Кеминэ, и пожалели, что отпустили его так скоро. А потом они разъехались по соседним аулам и всюду рассказывали о том, как Кеминэ осрамил и осмеял великого мулла.

13

Опять Кеминэ и мулла едут по пескам.

Вся наша туркменская жизнь такая. Родина наша — седло. Садись на лошадь, или на осла, или, если у тебя есть верблюд, садись на верблюда и трясись в седле от колодца к колодцу. Придет ночь — расстели кошму, ложись и спи. Прошла ночь, погасла звезда Уч-иолдыз, пески стали розовыми — свертывай кошму и трясись дальше. Снова ночь — и снова стели кошму. Опять день — и опять седло. А там, глядишь, через день-другой и аул показался, где тебя ждет сосед в гости.

Ну, тут уж не на кошме, не в степи спать ляжешь. «Входи, входи, — скажет сосед, — будешь дорогим гостем». И уже послал жену к стаду — сказать, чтоб зарезали барана. Сын соседа взял из рук гостя повод.

снял с коня седло и пучком травы отер коню холку. Вот и очаг запылал. Чал пенится в чашках. В кибитке тепло, тихо. Луна заглядывает в дымовое отверстие. Сидит хозяин, сидит гость. Сидят еще двадцать гостей, которые набились со всего аула. «Хороша ли была дорога? — спрашивает хозяин. — Не охромел ли конь? Не испортилась ли вода в колодце? Какие новости у соседей?»

Хозяин расставил шахматы. Двинул пешкой. «Сейчас дорогой гость убьет моего шаха». Гость смеется, он тронул коня. «Шах Надир был силен, а конь и его копытом на землю повалил. Шах твоему королю». Луна поглядела и ушла. Гости сидят тихо, хлебают чал. «Берекелля, молодец», — шепчет один другому, следя за игрой.

Пришел еще сосед, с дутарой. Снял шапку, поклонился, сел в сторонку. Положил дутару на колени. В кибитке тепло; скинул халат хозяин, скинул гость. Дутарчи расстегнул ворот. Пальцы, как птицы, летают по струнам. «Я алла, сагбол» — шепчет гость. А дутарчи закрыл глаза и закинул голову.

Я был как острая игла,
Ты ниткой тонкою была.
Тревога душу мне сожгла.
Цветы, скажите, где она?
Как волны шелк твоих волос.
Уста твои алее роз.
Мой злобный враг тебя унес.
Цветы, скажите, где она?
Прошел я выси снежных гор,
Я видел тысячи озер.
К дорсге мой прикован взор.
Скажите, горы, где она?

«Настоящий бахши Овез, — скажет гость. — Верно, ему сам Кер-Коджали¹ дал благословение».

Потом все разойдутся. Хозяин уступит гостю свою постель. Гость спит, укрывшись одеялом. Под головой у него подушка. У изголовья его пустыня. Сердце у него спокойно, желудок полон. «Хорошо, — думает он, — что сосед живет близко; если бы на базар в го-

¹ Кер - К о д ж а л и — знаменитый бахши.

род ехать — это надо много дней с седлом не расставаться».

Аул Хал-Мурада от города был не очень далеко — всего одна ночь пути, — и мулла торопился домой. А Кеминэ никуда не торопился. Он давно забыл, где у него дом, и ему было все равно — быстро или медленно шагает его осел. Но только сейчас пусть лучше он шагает быстро. Нельзя упускать из виду муллу. Эта жирная жаба если завтра и увидит кази-раиса, то кази-раис едва ли признает в нем почтенного муллу.

Кеминэ не был злым и зря никогда не поднимал руку на человека. Но когда в его сердце закипала страсть, он был готов на все.

Мулла был тоже зол на Кеминэ, кулаки его так и чесались прогуляться по спине служки, но дорога шла песками, и он сдерживал свою злость. Убить служку недолго — а как потом ехать одному? Когда Кеминэ отставал, мулла даже натягивал поводья и, поджидая шахира, делал вид, что лошадь дурит и вертится на месте. Кеминэ был опять рядом, и мулла снова давал волю своей кобылке.

И опасения муллы относительно разбойников вовсе не были напрасны. Только он выехал на гребень холма, как вдали послышалось ржание; на тропке, что пересекала их тропу, показались всадники. В руках у них были длинные палки. Было похоже, что это колтоманы подстерегают добычу.

Мулла оглянулся на Кеминэ, а служка ехал неспешно и был далеко. Тогда мулла повернул свою кобылку и погнал ему навстречу. Но что это? И разбойники пустили коней вскачь. В первый раз мулла пожалел, что он не на жеребце. Кобылка перешла в галоп, но кони колтоманов летели как джейраны. Уже они были не дальше как в расстоянии одного крика, когда кобылка споткнулась и упала. Мулла выдернул ногу из стремя и, придерживая руками брюхо, пешком кинулся навстречу Кеминэ.

Служка, надо полагать, не мог сдержать осла и, наехав на муллу, сбил его с ног.

— Ой, мулла, мой осел, кажется, ударил тебя! — закричал он сокрушенно.

Мулла лежал на земле и, шелкая зубами, указывал на разбойников. Только это были не разбойники. Это, наверно, бахши торопились к тою в один из соседних аулов. В руках у них не пики, а дудки-тюдюки, на которых они будут играть свои песни. Они вовсе не гнались за муллою. Просто один захотел обогнать другого. Он пустил коня вскачь. А разве туркмен согласится, чтоб его обогнал другой туркмен? Тот тоже ударил своего коня камчой. Так они и скакали по пескам, обгоняя один другого.

Пир и сам понял свою ошибку. Он узнал дутару и тюдук в руках всадников, и испуг его разом обернулся злостью.

— Ну и греховодники эти бахши, — сказал он, пытаясь подняться, — всюду они со своими дудками, как черти с хвостами.

Кеминэ оборвал его.

— И опять соврал, мулла, — сказал он. — Черти приходят к человеку, когда человек умирает. А разве ты видел когда-нибудь, чтоб бахши приходили на похороны? Это муллы и ишаны тут как тут, едва умрет человек.

Тут уж и Пир вышел из себя.

— Нечестивец! — завопил он. — Разве ты не знаешь — кто оскорбляет муллу, у того пухнет живот. На же тебе, получай!

И он что было сил ударил осла по морде, задев старика.

— Всякий, кто дает, — сказал тогда Кеминэ серьезно, — надеется получить вдвое. Так ты меня учил, мулла? Давай посчитаемся теперь за все, а то мне ехать в Ташауз недосуг.

И Кеминэ рассчитался с муллою полною мерой.

Он был такой человек: все, что делал, делал хорошо и никогда не жалел своих сил. Когда страсть вселялась в его сердце, он забывал, что ему вредно и что ему полезно, и забывал даже о пище и воде. Так вышло и на этот раз. Он совсем забыл, что через спину осла перекинут бурдюк с водой. Размахнувшись, чтобы отдать долг мулле, который сидел на песке, широко раскинув ноги, и только кричал при каждом новом

ударе, как сова: «Ух, ух!» — Кеминэ спихнул кулаком и бурдюк наземь.

Он вспомнил о нем, лишь когда мулла остался уже далеко позади и над ним кружились два вóрона, собираясь, если будет нужно, перенести служителя аллаха на своих мощных крылах через мост Тульфат. Солнце, раскаляясь с каждой минутой, висело над песками. Кобылка муллы, задрав хвост, скакала вдогонку за бахшами, которые давно скрылись за барханами. В мешке Кеминэ даже не было сушеного урюка или горсти соли, чтоб утолить жажду, но он не стал возвращаться. Пусть мулла, если хочет, примачивает водой шишки и синяки. Шахир сел на осла поудобнее, подвернул кошму и поехал по направлению к аулу, где жили бай Еген-Ораз и его жена, насмешница Халли, красивей которой не найдешь женщины в стране, населенной туркменами.



К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

1

Кеминэ стал жить в кибитке Еген-Ораза покойно и сытно.

Текинцы очень радовались, что у них теперь такой мулла, который и песни умеет петь, и с богом может беседовать, как младший брат. И особенно радовались женщины, которым чаще, чем мужьям, выпадала нужда беседовать с богом.

Одной Халли было как будто все равно.

Вот это была женщина! Точно ее звали Минджеамаль¹ или Джирен², а не Халли. Замужнюю женщину красят слезы, а она одно знала — смеяться. Точно девочка, точно косы у ней висят на груди, а не перекинуты за спину и на голове не тяжелый берык, а девичья шапочка с острым торчком. Кажется, позови ее ребята играть в «пишик-пишик» или начни прыгать, взявшись за плечи, и кричать «хмыл-хмыл» — и она пустится с ними скакать и бегать. А ведь у такой женщины, как она, сыновья могли бы уже на коне сидеть.

Надо было видеть, как она разговаривает с мужем.

В других кибитках жена голоса не поднимет. Если спросить что надо — спросит шепотом. А Халли рас-

¹ Минджеамаль — женское имя; в переводе — тысяча улыбок.

² Джирен — женское имя; в переводе — козочка.

ставит ноги, подопрет руками грудь, выкатит гладкий и круглый живот и начнет попрекать Ораза: и ест-то он много, и храпит-то громко — ночами спать не дает, и ничего рассказать толком не умеет.

Другой бы муж сразу поставил такую жену на место, а Еген-Ораз только надувался, как лягушка, и сипел:

— Да потише ты! Эх тебя разбирает. Услышат же! Вот наказал меня аллах.

Уж он и тому был рад, что при людях Халли соблюдала обычай: как покорная жена, молчала, и кланялась, и исполняла каждое желание мужа.

По своему богатству Еген-Ораз мог поставить для Кеминэ новую кибитку, а не захотел.

— Живи, — сказал, — почтенный мулла, в моей кибитке. Вот тебе одеяло, вот ковры и кошмы, будь гостем. А построит Чее-Мурад мечеть — тогда как знаешь.

Они вдвоем сидят, пьют чай, играют в шахматы или так беседуют, а Халли молчит, прядет шерсть или монетки на нитку нанизывает, чтоб играла ее грудь серебром и золотом.

Ораз-бай был большой мастер играть в шахматы. Но Кеминэ всякий раз оставался победителем. Что такое? Ораз-бай взял у муллы слона, а потом поглядел в степь: не едет ли старший чопан с докладом, — а на доске у муллы снова два слона.

— погоди, постой, мулла! — закричал он. — Я же твоего слона в плен взял! Так не годится.

Но что не годилось для бая, годилось для бедняка Кеминэ.

— Так ведь на то и игра, — отвечал он, — чтоб не зевать: небось не живого барана у тебя украл, деревянного слона назад привел. Не дело делаем, в игрушки играем.

И верно — не дело. На степи бараны пасутся. В огороде лук растет. Вот это — дело. Ораз-бай поднимался с ковра, доставал ковер-намазлык, кидал его у входа, ударял головой об пол и садился на коня.

— А теперь извини, почтенный мулла, — говорил он, — дела ждут. А поеду из песков — и к Чее-Мураду загляну, скоро ль мечеть готова. Ораза-то не за горами.

Ох, уж и отыгрывался бай Ораз на чопанах и на работниках за великий пост, от которого одинаково томились и он и жена!

2

Бай уезжал, и веселый мулла с Халли оставались вдвоем.

Кеминэ сейчас же подвигался к женщине и начинал плести свои небылицы.

Халли слушала его, наклонив голову. Негодница, она знала, что если наклонит голову, под шеей у нее обозначится ямка, смотреть на которую нельзя без волнения сердца. Или, делая вид, что оборвалась нитка, она наклонялась до самой земли, и тогда шелковая рубашка плотно облегала ее стройный стан.

Кеминэ забывал, про что он рассказывал. А она выпрямится и спросит с удивлением:

— Что ты замолчал, мулла? Все-то ввали про тебя, будто нет человека, который мог бы заткнуть тебе рот.

— Конечно, ввали, — живо откликнулся Кеминэ, — для этого даже не нужно целого человека. Хватит одного небольшого кусочка, чтобы губы мои занялись другим делом.

Один раз, когда он так сказал, Халли отломила кусок лепешки и сунула его Кеминэ в рот.

— Ишь ты, как наголодался, бедный ты человек. Ешь скорей! Придет ораза — успеешь напоститься.

Ораза — по-текински великий пост, но и бая звали Ораз, и для текинского уха имя его понятно как «постный бай».

Кеминэ, конечно, не упустил случая сказать о том, чего он добивался.

— Ты хочешь накормить меня, пока не пришла ораза, — сказал он, смеясь. — Может быть, и я смогу утолить голод твоего сердца, пока не вернулся Ораз.

Халли сделала вид, что не поняла.

— Ты, мулла, чем загадки загадывать, лучше бы повторил свои молитвы. Муж мой неученый человек, а все молитвы знает наизусть. Если ты одно слово про-

пустишь, он прогонит тебя, да еще и собак на тебя спустит. Он сразу догадается, какой ты мулла.

Кеминэ, и верно, многих молитв не знал и настоящим муллою не был. В ауле всякого, кто читал книги, зовут муллою. Муллами были сыновья Кеминэ, а он одно знал твердо — похоронную молитву. Когда какой-нибудь Токлы-яшенек умирал, звали Кеминэ; он читал, что требовалось, и всем было приятно, что не надо настоящему мулле платить барана или двух. Вот и прозвали его — молла Кеминэ. А в других аулах и верно думали, что он настоящий мулла.

Кеминэ не сомневался, что Ораз-бай прогонит его, как только мечеть будет готова, но слов Халли он все-таки не оставил без ответа.

Он наклонился над постелью, взял свою подушку и положил ее на постель Ораза.

— Если Ораз-бай знает все молитвы лучше меня, — сказал он, — пусть он и будет муллою и спит на моем месте. А я уж удовольствуюсь его положением.

Чего-чего только не придумывал Кеминэ, чтоб дать понять Халли, какой горячей любовью полно его сердце.

А она не понимала.

Тем временем подходила ораза; мечеть была совсем готова. Чее-Мурад не жалел ни рук, ни времени; привязав к себе пленного фаранга веревкой, он с его помощью с утра до ночи крепил столбы, клал стены и стлал крышу новой мечети. Ораз-бай каждую минуту мог прогнать обманщика муллу, и Кеминэ был готов на все, только бы Халли согласилась на то, к чему стремилась его страсть.

3

Один раз с утра поднялся сильный ветер. Песок вставал столбами, которые двигались и крутились на месте, а потом ломались пополам, и одна половина падала наземь, а другая улетала к небу. Небо казалось грязным, и солнце катилось в вышине белое, как серебряная монетка. Халли сказала мужу, чтоб он остерегся ехать в пески. Но шел самый окот. Как мог Ораз

оставаться дома? Если родится двойняшка, чопаны второго ягненка обязательно прирежут и скажут хозяину: «Каждая овца принесла только по одному ягненку».

Ораз-бай сел на коня и уехал в степь, как он это делал всякое утро.

Халли и Кеминэ опять остались вдвоем. Насмешница села за пяльцы. Но работа не ладилась. Ветер свистел в щелях кибитки, наполняя сердце унынием и вызывая слезы в глазах.

Кеминэ никогда не мог видеть женских слез спокойно. Он придвинулся к Халли и начал свою веселую болтовню.

— Вот был у меня один знакомый, — сказал он, — по имени Мир-Кель. Князь плешивых. Он был труслив, как мулла Пир, и глуп, как Чее-Мурад. Когда он шел по аулу, столько мух садилось к нему на плешь, что стоило ему ударить ладонью, и он сразу убивал тридцать штук, а то и больше. Один раз собрался хивинский хан войной на наш аул. Бай Кара-Юсуп очень переполошился и собрал молодцов. Только хивинцев было сотен пять, а у нас и сотни джигитов не было. Очень Кара-Юсуп боялся воевать. Пошел я тогда к нему и говорю: «Вот есть у меня один знакомый, ему ничего не стоит с ханскими аскерами драться, он рукой сразу тридцать штук врагов убивает».

Кара-Юсуп обрадовался. «Слушайте, — кричит он, — Токлы-яшеноки! Есть батыр, который по тридцать врагов зараз убивает, выберем его сердаром». Джигиты сейчас же собрались и выбрали Мир-Келя сердаром. Пришла ночь, все заснуло, а плешивый не спит, все думает: «Как это завтра я в бой пойду, ведь убить могут». И задумал убежать. Стал тихонько одеваться, а сапога не найдет. Шарит здесь, там, — нет сапога. Такую возню поднял, что проснулись Токлы-яшеноки. «Ой, — подумали они, — наш сердар один на бой собирается — верно, хочет все ханское войско перебить и всю добычу себе забрать». Повскакали со своих мест, схватили мечи, сабли и бросились на хана. А была ночь, и ханское войско спало. Совсем они не ждали нападения. Схватились, только уж поздно, — кого порубили, кого повязали Токлы-яшеноки. И весь ханский

караван с собой увели. Так и вернулся хан в Хиву ни с чем. А плешивый с тех пор главным человеком стал в ауле. Ему Кара-Юсуп в пояс кланяется. И советов его слушает, точно он пророк. И дела идут ничего — не хуже, чем прежде шли.

Кеминэ кончил, а Халли не смеялась.

Может быть, кто другой и посмеялся бы этому рассказу, но Халли только перекусила нитку и сказала досадливо:

— Вместо того чтоб болтать-то, сыграл бы лучше на тюйдуке. Вон у мужа висят на стене три инструмента. Он, когда был молодой, играл на тюйдуке не хуже, чем Шукур-Арык.

И она кинула камышовую дудку на колени Кеминэ.

Чтобы тюйдук запел, надо плотно упереть его в передние зубы и дуть, дуть, округляя щеки и напрягая горло.

Кеминэ быстро подхватил тюйдук и просунул его в щель кибитки.

Ветер, который бушевал над песками, попадал во все щели, он попал и в дудку, и тюйдук запел жалобно и тонко.

— А теперь попросим ветер, чтобы он заговорил человеческим голосом, — сказал Кеминэ. — Пусть каждый занимается своим делом. Ветер свистит, а человек. . .

С этими словами он приподнялся и, сделав вид, что споткнулся, и как бы для того, чтобы не упасть на угли очага, схватил Халли за плечи.

Таких плеч ему еще не приходилось сжимать в своих ладонях. Они были круглы, горячи и круты, как холмы горячего песка.

— Ой, ой, — закричал Кеминэ смеясь, — я испугался, что сгорю на очаге. А и здесь пламя не меньше. Кто теперь потушит огонь, который опалил мне ладони?

Халли наконец-то улыбнулась.

— Все-то ты врешь, шахир. Я тебе не верю. Если ты действительно горишь, вот ведро, дай я плесну водой. Посмотрим, зашипишь ли. . .

И смех в ее горле забулькал, как соловей.

Кеминэ больше не хотел и не мог шутить.

Вся душа его пылала страстью и требовала любви. Он всегда был такой. Он смеялся, и болтал, и рассказывал сказки, и осыпал собеседника насмешками, и хвастался, и хвалился, и выставлял вперед свою бородку. Он был всегда такой, кто бы с ним рядом ни находился — простой ли человек, чопан и дайхан, или хивинский аскер, или старая женщина, или сам казираис, или даже молодая женщина, — когда его сердце было занято другой. Но едва сердце шахира заговорило — другой человек входил в его тело. У этого другого человека был другой язык во рту, и другое сердце в груди, и другой мозг в голове.

И этот другой человек находил такие слова, каких не знал никто, кроме него, во всей стране горячих песков.

Вот дайхане, раскрыв рты, слушают повесть о влюбленном Тахире, который поет песню своей бедной Зохре. Вот прошел слух, что объявился новый шахир, молла Непес; он играет на дутаре и подбирает такие сладкие слова любви, что даже верблюдница, слышав их, жалеет, зачем она не девушка, которой Непес посвящает свою песню. Вот великий Физули сумел даже дочь султана склонить к себе словами, поющими, как птицы. Но послушайте Кеминэ, когда он говорит о любви, — и зачем вам знать Физули, моллу Непеса или старую повесть о Тахире и Зохре?

Речь Кеминэ была полна простоты и страсти. Он видел перед собой женщину, по какой томилось его сердце, и не смотрел ни на что другое. И чем дольше он смотрел на нее, тем казался сам себе хуже, беднее и ничтожней. Куда девался хвостун Кеминэ? Юноша, робкий, впервые прицепивший к кушаку меч, стоящий рядом со знаменитым батыром, — вот кто он сейчас, почтенный молла Кеминэ.

Глаза его горят, как горячие угли, и в каждом слове его больше сердца и крови, чем во всех строках Гафиза и Омар-Хаяма. Голос его дрожит. Он больше не шутник, не бедняк Кеминэ в заплатанном халате. Он — труба, через которую сама земля — и пески, и небо, и высокие горы — кричит о великой муке любви. Разве

не тянется волк к волчице, орел к орлу? Солнце догоняет на небе луну, а луна убегает, закрывая половину лица, а порой закутывая в платок и всю голову. Пчела летит на цветок, пораженная его красотой, но только мед, а не красоту лепестков унесет она в улей. Ветер тянется к ветке, полной плодов. Плоды осыпались, ветка стала пустой и голой. Разве того хотел ветер? Краснобородый фарс кладет в рот кусок сахара, а потом горячий чай обжигает его губы. Мальчик поймал в силки горную курочку, а в руках его только перья. Халли, горная курочка, ветка, полная плодов, луна в небе, волчица, твои уста сладки, как золотая чаша, полная сахара. Бог весны взбирается на гору, чтоб коснуться прохлады снегов. Халли, твоя грудь — снежные горы в середине зимы. Приходит весна, и снега ручьями слез катятся в долину. Насмешница, негоддяка Халли, вот стоит перед тобой Кеминэ, как ветер, как солнце, как мальчик с хвостом кяклика¹ в руках, как фарс на базаре, и горький вкус чая на его языке.

Не так, а гораздо лучше говорил Кеминэ, умоляя Халли поверить его сердцу. И будь на ее месте другая женщина — разве осмелилась бы она не поверить? Но это была Халли. Пальцы ее быстро бегали по вышивке, которая украсит кисет Ораз-бая; грудь вздымалась высоко, точно и верно две горные курочки спрятались у нее под рубашкой; на ресницах дрожали разноцветные капельки слез. . .

Но вот она вскинула на Кеминэ глаза и рассмеялась.

— Мулла, чёш-чёш, — сказала она со смехом, незаметно утирая слезу. — Ты думаешь, я слышала мало песен, что поют бахши? Когда ты врешь, ты интересней. Для любви ты берешь слова, какие каждый мальчишка твердит девушке, поймав ее у колодца. Вон, я слышу, едет мой муж. Я повторю ему слова, какими ты хотел соблазнить меня, и спрошу, слышал ли он их когда-нибудь раньше. Что он ответит, я не знаю, но что он побьет тебя — это наверное.

¹ К я к л и к — горная курочка.

Ветер тем временем стих, и вдали было слышно ржание коня Ораз-бая.

— Ну, скажи: веришь ты мне? — прошептал Кеминэ, хватая Халли за руку.

Он хотел добавить, что, конечно, слова эти старые и Халли могла их слышать от какого-нибудь заезжего бахши, но ведь это он, Кеминэ, впервые придумал их. Он их хозяин. И как хозяин гонит отару к одному колодцу или к другому и оставляет там, где бараны скорей утолят свою жажду, так и шахир волен слова песен обращать то к одной женщине, то к другой и всякий раз обращает к той, которая ближе других подходит к его мечте.

Но он не добавил ничего. Он только держал Халли за руку и повторял:

— Веришь? Ну, скажи мне— веришь?

— Когда я буду знать, что ни одна женщина не слышала тех слов, что ты говорил мне, тогда поверю, — ответила Халли и попыталась освободиться из рук Кеминэ.

Но он был удивительно сильный, этот шахир, и Халли закричала с внезапной злостью:

— Пусти же! Я все расскажу мужу, и он выгонит тебя и спустит на тебя собак, как это делает чопан, когда волк хватается овцу.

И она что было сил толкнула поэта в грудь.

В это время совсем близко раздалось сопение Ораза и мирное ржание его коня, который радовался, что вернулся домой.

— Я слышал голос Халли, — сказал Еген-Ораз, входя. — Она опять сердится. Извини эту женщину, почтенный мулла, она бранится со всеми, кто остается с ней наедине.

И он рассказал Кеминэ, что терпеть осталось недолго. Мечеть почти готова, осталось лишь поставить ворота, возле которых будут толпиться убогие попрошайки, вымаливая подаяние. Но Чее-Мурад всякий стыд потерял: заперся в кузне и горланит песни, точно свадьба или праздник. А завтра ораза. Но Еген-Ораз не постеснялся — пришел и накричал: чтоб к утру все

было готово, а не хочет работать, пусть отдаст седло, какое бай одолжил ему год назад.

Рассказывая об этом, Еген-Ораз снял теплый халат и взял Кеминэ за руки:

— Я сказал этому чертову кузнецу: пусть он хоть целую ночь работает, а чтоб к утру кончил все. Келья твоя уже готова. Ты станешь жить возле самой мечети. Там тебе будет время беседовать с богом и помогать правоверным молитвами и советами.

И, кинув на жену ласковый взгляд, бай добавил:

— Там ты отдохнешь и от криков этой глупой женщины.

Кеминэ без всякой радости выслушал рассказ бая.

— Назначение слуги аллаха, — сказал он тихим голосом, — стремиться к тому, чтобы тот, у кого сварливый характер и язык как жало скорпиона, стал покорным и уважал старших. Я охотно пренебрегу удобствами отдельного жилища при мечети и обреку себя на общение с твоей женой. Она призналась, что не верит мне, а я говорил ей лишь те слова, какие мне подсказывало сердце.

И Кеминэ повторил сокрушенно:

— Она не хочет верить.

Тогда Ораз-бай возблагодарил аллаха, пославшего ему такого честного и старательного муллу, а ночью, укладываясь спать, шепнул Халли, которая лежала с открытыми глазами:

— Что это ты в самом деле?! Какая выискалась! Ты должна слушаться муллу, как меня. И верить ему во всем.

На что Халли ответила:

— Ах, Ораз, я бы охотно поверила ему, будь он помоложе.

Она говорила, что думала. Но и Ораз-бай думал свое и зашептал:

— Ты наслушалась всяких басен про хивинских мулл, которые под старость думают только о наживе. Мулла Пир, верно, недостойный человек и к тому же трус. Но наш мулла — текэ. И он осрамил Пира.

Посмотри, какой он оборванный и худой. Он думает только о том, что велит его сердце. И потом он вовсе не старый. Нет, нет, Халли, ты обязана делать все, что только он ни попросит.

4

Кеминэ долго лежал не засыпая. Глаза его были открыты и смотрели в отверстие, куда уходит дым, когда в кибитке разложен огонь. В отверстие он видел звезду и половину луны. Звезда была как золотая монетка на груди Халли, а половина луны — это половина ее лица.

Кеминэ лежал долго, слушая хриплый шепот Оразбая. Потом бай умолк, и две жирные лягушки заквакали в его бабьей груди. Он хрипел и сопел и по временам стонал, как маленький ребенок, которого мучат первые беспокойства жизни.

Тогда Кеминэ накинул на плечи халат и вышел в степь. Когда он перешагивал через Оразбая, ему показалось — глаза Халли открыты и следят за ним. Конечно, она тоже могла бы подняться и выйти из кибитки. Но она повернулась на бок и положила руку на шею мужа.

Кеминэ охватили ночь и покой пустыни. О, как любит он эту страну, полную песка и звезд! Он любит лай собак, которые охраняют стада от волков. Бараны прижались друг к другу спинами, и шерсть их блестит под луной, как вода. Звенит куст саксаула. Тень шахира разбудила ящерицу. Она приподнялась на лапках и замерла. Засвистел суслик. Черепахам дела нет, ночь ли, день ли, — они знай тащат свои каменные кибитки неизвестно куда. Ночная жизнь пустыни, как горячее сердце, горела и билась перед самыми ушами Кеминэ. Что из того, что молодость позади. Ноги его несут быстро мимо кибиток, мимо ям, заваленных мусором, мимо сухих канав. Глаза его видят спины барханов, звезды над головой, дым далекого костра, около которого сидят чопаны. «Ты старик, Кеминэ», — говорит сам себе Кеминэ и начинает смеяться. «Ты настоящий ак-

сакал, Кеминэ», — говорит он, прибавляя шагу, левой ладонью сгребает бородку и подносит к глазам.

Борода от луны кажется зеленой, как пучок осенней молодой травы.

Потом он видит осла. Животное не спит, оно выставило уши вперед, как рога, и плетется за хозяином.

— Халли не верит нам с тобой, старик, — говорит Кеминэ, обнимая осла за шею.

Осел молчит. Шея у него теплая. Дыхание ровное, точно это дышит сама ночь.

Тут можно заплакать от благодати жизни, какой доверху, как чаша, налита пустыня. Сколько радостей и печали в этой прекрасной стране! Нет такой другой страны нигде в мире, как нет другой луны на небе и нет другой красавицы, кроме Халли. Если бы впереди еще одна жизнь поджидала Кеминэ, он бы и ее отдал без остатка за одно лишь ласковое слово из уст Халли.

Свела меня луна с такой любимой,
Которая словам любви не верит.
Твержу «люблю», огнем любви палимый,
Халли глядит, смеется и не верит.

Этих слов не слышала ни одна женщина, потому что только сейчас они запросились на ум и сердце Кеминэ.

В пустыню убегу, снедаем горем,
Как Вамык и Уэра, умру за морем,
Как горестный Фархад, разрушу горы,
Как камень стану сам, — она не верит!

Кеминэ шептал стихи и целовал осла в щеки и ноздри. Слезы восторга и печали, о которых пел Махтум-Кули в своей песне Химету, застилали счастьем его глаза.

Поверь, Халли, влюбленного дестану¹..
Тебя, Халли, хвалить не перестану.
Но даже если пить и есть не стану,
От голода умру, — всё не поверит.

¹ Д е с т а н — здесь: любовное стихотворение.

Кеминэ был великий шахир и мог за одну ночь сложить песню, какой позавидует сам молла Непес.

Но только все же он был не молла Непес, а молла Кеминэ. Даже объятый пламенем неземной страсти, он не забывал грешной земли, и уши его ловили каждый звук в этом мире.

Он все еще целовал осла в ноздри, и слезы, как нити жемчуга, все еще блестели в его бороде, когда послышались голоса со стороны кузни.

И вот какой был любопытный человек Кеминэ! Он смахнул слезу, оттолкнул осла и торопливой походкой направился к жилищу Чее-Мурада.

Это была обыкновенная кибитка, в каких тысячу лет живут текинцы. Решетчатая стена покрыта кошмой, дверь на запоре, но между кошмой и дверью широкая щель. Подойди и слушай. А потом иди дальше и говори соседу: «А вót, я слышал, Аман-Палван со-сватал свою дочь за старшего Кайксыза; он хочет за нее двух верблюдов и баранов без счета». Или «Дурды совсем одурел, он стал курить терьяк¹, точно он фарс». Или: «А вот Чары-Шукур грозился пристрелить сердца, который обидел его при дележе добычи». И еще многое услышишь, если станешь подходить к каждой кибитке в ауле, когда над песками плывет половина луны.

Кеминэ подошел неслышно и видел все, что творится в жилище Чее-Мурада.

Кузнец сидел молча, опустив голову, а пленник говорил ему что-то быстро и горячо. Кеминэ не разобрал слов, потому что пленный сидел спиной к двери и говорил негромко. Кеминэ только видел, как фаранг хлопнул Чее-Мурада по плечу и захохотал, и рыжая бородака его затряслась вместе со всем его шуплым и маленьким телом. Захохотал и кузнец, а потом фаранг достал из кожаного сундучка бутылку и протянул ее кузнецу. Чее-Мурад отхлебнул из бутылки, скривил лицо, будто это был настой полыни, отломил кусок лепешки, проглотил ее, не жуя, и стал хохотать.

Потом он замолчал и некоторое время сидел, за-

¹ Терьяк — опиум.

крыв глаза, причем лицо его было блаженным, точно он видел радостный сон или точно его выбрали эмиром.

Затем он снова потянулся к бутылки и крикнул что-то голосом, совсем непохожим на голос кузнеца. Но Кеминэ опять не разобрал ничего. Осел внезапно вспомнил о своем сиротстве и заплакал. А когда он кончил, затрубил другой. Ослы, как петухи, ведут ночную переключку. Они трубили и трубили один за другим, заглушая все слова и будя спящих, и матери снова шептали ребятам: «Спите, это осел наелся колючек», или «Спите, это осел соскучился по своей маме».

Ослы не дали Кеминэ разобрать, о чем вел речь кузнец. Он слышал только, как Чее-Мурад два раза помянул Ораз-бая и сказал, что таких коней нет ни у одного текинца.

Это было в первый раз, что Кеминэ не понял, что делают и о чем говорят люди.

Уж он ли не исходил всю землю, населенную туркменами! Он знал баев, и чопанов, и бедных дайхан. Он видел свадьбы, и похороны, и аламань, и нашествия хивинцев. В тяжелые дни хошаров¹ он вселял бодрость в сердца тружеников, а когда приходила осень и наступала пора сбора урожая, он веселился вместе с каждым дайханином, как будто это его серп срезал колосья или это его хлопок открывал коробочки навстречу рукам сборщиц. Он был знаком со многими людьми и видел даже урсов, китайцев и жителей Индии. Он играл во все игры, в какие играют туркмены: и в шахматы, и в игирма-лаши, и в другие игры. Он знал, чем табибы изгоняют болезни, и видел, как парханы² заставляют человека спать и делать во сне все, чего хочет пархан: и кричать, и смеяться, и, подняв руку, протыкать воздух пальцем, как джигит ножом протыкает живот врагу.

Но веселый шахир не видел ни разу, чтоб туркмен прыгал, как безумный, и кружился на месте. В Хиве

¹ Хошар — тяжелые зимние работы по очистке каналов и арыков, истинное проклятие для бедного земледельца в Средней Азии.

² Пархан — гипнотизер.

так прыгают распутные бачи для удовольствия баев. Но ведь Чее-Мурад не хивинец и не бача.

А затем кузнец и фаранг покинули кузню и, пошатываясь, в обнимку, направились в сторону колодца, немного поодаль от которого строилась новая мечеть для муллы.

«Они торопятся доделать мечеть, в которой завтра я должен читать молитву», — подумал Кеминэ, и мысли его снова вернулись к Халли.

Поверь, Халли, влюбленного дестану! ..
Тебя, Халли, хвалить не перестану.
Но даже если пить и есть не стану,
От голода умру, — всё не поверит.

Халли проснулась оттого, что Кеминэ, входя, стукнул дверью.

Шахир шатался от усталости и шептал себе в бороду какие-то слова. Он продолжал шептать их даже во сне. Но Халли могла разобрать лишь два слова: «Не верит, не верит. . .»

Халли так и не заснула. Уже близились утро. Ослы молчали, но зато на весь аул горланили петухи и за холмами блеяли овцы, которых чопаны гнали к колодцу на утренний водопой.

Наступил первый день великого поста, оразы.

5

Вот пришлось Кеминэ торопиться! Никогда он не испытывал такой спешки. Чуть свет Ораз-бай поднялся и громко сказал:

— Сегодня ораза.

Может быть, он думал, что Кеминэ вскочит и начнет творить намаз, радуясь, что наступил пост. Но Кеминэ лежал с закрытыми глазами, покойно и недвижно, как малый ребенок. Бородка его сбилась набок, и он совсем не был похож на муллу, этот бедный бродяга, укрытый рваной шубой.

— Сегодня ораза, — повторил бай еще громче и, разостлав намазлык, усердно стал бить лбом в землю.

А Кеминэ и не думал открывать глаз.

Тогда бай совсем рассердился. Он упал головой на ковер и из-под руки злобно косился на муллу, бормоча:

— Где это видано, чтобы мулла дрых до полудня, когда всякий правоверный творит намаз!

Кеминэ не спал. Он просто не открывал глаз, дожидаясь, когда бай уберется, чтоб можно было прочесть Халли песню, какой до нее не слышала ни одна женщина.

Но как остановишь бая, когда тот начал выкладывать пророку все обиды, что за долгий год накопились в его жадном сердце. Еген-Ораз бормотал ругательства и молился целый час, и целый час его жирный курдюк торчал перед носом Кеминэ. Под конец шахир не стерпел. Делая вид, что он все еще продолжает спать, он выпрямил ноги и что было сил толкнул бая в ту часть, какая, надо думать, особенно горячо беседовала с богом, так как была к небу ближе других. Бай повалился на бок и совсем позабыл, что наступила ораза и что с муллой надо быть почтительным и вежливым.

— Чертов оборванец, — захрипел он, — лентяй! Ты не только сам не творишь намаза, ты еще и другим мешаешь молиться, лягавый осел!

У Кеминэ всякий сон отлетел. Ему давно не терпелось поговорить с баем, как тот того заслуживал.

— Остановись, бай! — закричал он испуганно. — Что ты наделал? Ты сам говорил: кто ругает муллу, у того пухнет живот. — И всплеснул руками. — Что же это будет теперь? И так лошадь скрипит под тобой, как сухое дерево, а теперь она совсем переломится пополам, когда ты на нее сядешь. Никогда ты не сможешь объезжать свои стада. Чопаны, лишённые надзора, перережут барашков, мясо съедят, а шкурки свезут на базар в Хиву или Мерв.

И Кеминэ чуть даже не заплакал от жалости к Оразу.

Эти слезы и строгий голос муллы, который всегда был веселым и ласковым, испугали Еген-Оразу.

— Прости меня, почтенный мулла, — пробормотал

он смущенно, — я думал, это не ты лягнул меня, а бездельница Халли. Я не видел, как она ушла к колодезю.

Но Кеминэ продолжал смотреть на него строго, как сам аллах, и бай так перепугался, что сердце в груди его стало сердцем зайца, и он повалился в ноги Шахиру.

— Ой, ой, мулла, — заплакал он, — прости меня и сделай, чтоб живот мой не пух. Я подарю тебе за это гнедого. Бери его. Лучшего коня нет ни у одного текинца. Ой, горе мне!

Гнедой был очень кстати Кеминэ. Если Халли, выслушав его песню, согласится оставить аул, лучшего коня им не пайти. Но не такой был человек Кеминэ, чтоб кончить игру до времени.

— Хорошо, бай, — сказал он, подумав, — лошадь я возьму. Но с животом твоим ничего поделывать не могу. Он будет пухнуть и расти, раз ты в день оразы оскорбил муллу.

Было утро Еген-Ораз еще только поднимался, и ему показалось, что живот его уже вспух.

— Ой, ой! — завыл он. — Что же теперь делать? Ой, мулла! Ну, а если я найму какого-нибудь бедного человека? Я подарю ему сотню баранов, и он с радостью вместо меня отдаст свое тело в наказание господне.

Вот ведь байская голова какая — он и от бога норовит откупиться. Только Кеминэ и на это не был согласен.

— Нет, бай, это не годится, — сказал он без всякой жалости. — Но я могу посоветоваться с пророком, и, может быть, он разрешит, чтоб у тебя вспухла какая-нибудь другая часть из двенадцати¹ или, в крайнем случае, чтоб наказание коснулось одного из твоих близких. Это разрешает закон.

Бай, услышав эти слова, перестал реветь. «Может быть, попросить аллаха, — думал он, — чтоб вспухла рука. Тогда можно будет, не слезая с лошади,

¹ По старинному туркменскому поверью, человеческий организм состоит из двенадцати частей.

ощупывать барашка, поучать нерадивого чопана. Или...»

— Позволь тебя затруднить одним вопросом, святой мулла, — сказал он тихим голосом. — А до каких размеров будет пухнуть та часть из моих двенадцати, что изберет милость аллаха для наказания?

— Да уж до таких, — ответил Кеминэ, — что никакой лошади не выдержать.

Ну нет, это тоже не годилось. И Еген-Ораз вспомнил про Халли. Ей-то куда ездить на лошади! Ее дело сидеть в кибитке и ткать ковры.

— Великий и пресвятой мулла, — сказал он вкрадчиво, — великий хаджи, которому открыты все милости и тайны божьи. Сыновей у меня нет. Я ошибся, прельстившись на красоту Халли. Если бы она принесла мне хоть одного сына, я бы с удовольствием предоставил его гневу аллаха, а пока всей семьи у меня — одна Халли. Она, правда, не молодая, но крепкая женщина. Попроси великого пророка, чтоб наказание божье сказалось на ней, а меня освободи, святой мулла.

Кеминэ оказался не очень строгим муллой. Он не заставил бая повторять эту просьбу два раза, провел ладонью по бороде и опустил глаза.

— Все в руках аллаха, — сказал он торжественно. — Я попрошу бога и с его и твоего согласия постараюсь сделать так, чтоб наказание коснулось Халли. И когда это случится, знай, что аллах простил тебя.

В эту минуту цыновка отдернулась, и Халли с двумя кувшинами, полными воды, вошла в кибитку. Кувшины были тяжелы. Ее стан изогнулся, и волосы падали на рубашку, как черный дождь. Еген-Ораз ото-звал жену и громким шепотом сказал, чтоб она слушалась муллу, делала все, что он попросит, и если с ней что случится — пусть она не опасается.

— Это милость аллаха войдет в твое тело.

А потом бай вскочил на лошадь и уехал в пески. Кеминэ и Халли снова остались вдвоем, и у Кеминэ было сколько угодно времени, чтоб пропеть свою песню, какую до Халли не слышала ни одна женщина.

Света меня судьба с такой любимой,
Кстрая словам любви не верит.
Твержу «люблю», огнем любви палимый,
Она глядит, смеется и не верит.

Кеминэ пел, а Халли опустилась на ковер и залилась слезами.

6

О, с какой бы радостью Халли услышала эти слова любви от другого! Слова песни были просты и трогали сердце, как смех, как плач.

Когда она жила у отца и матери, аульным чопаном был молодой и бедный Шукур-Арык. Он каждый вечер пригонял из песков стада и задерживался у колодца, как было условлено. Солнце, покраснев, прятало свое раскаленное лицо в пески. От печей поднимался дым, как сто столбов. Сейчас, покончив с делами, вернутся домой мужья. Стряпухи торопились вскипятить воду и сварить еду. Те, у кого в степи бродила тысяча баранов, варили шурпу и отдельно жарили мясо. У кого баранов было мало, варили только шурпу. А мать Халли жарила одну кукурузу и делала похлебку из той же кукурузы.

Конечно, Халли могла запасти воды и с утра, но она хватала кувшины и бежала к колодцу не раньше, чем на песок падала тень от высокой папахы чопана.

Шукур-Арык стоял спиной к аулу и, вскинув тюйдук, играл песню, которая текла прямо к сердцу девушки.

Когда Халли наконец возвращалась от колодца, мать бранила дочь, называла ее лентяйкой и грозилась расчесать ей косы тем гребешком, каким расчесывают свалявшуюся баранью шерсть. Но у Халли были золотые руки. Вернувшись, она готовила с таким пылом, что похлебка закипала, казалось, от одного только жара, каким было полно ее сердце. Стряпая, она пела песню и когда ветер доносил до кибитки жалобную песню тюйдука, мать с удивлением замечала, что песня дочери и звуки пастушеского тюйдука не мешают друг другу. Они бежали рядом, как бегут рядом девочки,

играя в конбертык. Похлебка кипела. Голос Халли победно креп, и глаза ее казались угольками на очаге счастья. Мать, уставшая за день, присаживалась на порог и закрывала глаза. Но тотчас же выпрямляла спину и, отогнав воспоминания, кричала высоким и бранчливым голосом:

— Ты что это вздумала петь? Всякий стыд потеряла! Может быть, ты хочешь стать бахши? Смотри, как бы отец не выгнал тебя, как братья выгнали Хейли¹, которая тоже пела слишком много.

Милая мать, она кричала так громко, боясь, что отец услышит тюйдук чопана и песню дочери и поймет все.

Но отец приходил серый от пыли и усталым голосом говорил:

— Ну, жена, чем накормишь? — И не делал Халли никакого замечания.

О Шукур-Арык, бедный чопан, сирота, несравненный мастер тюйдука! Ни один тюйдукчи не давал тебе благословения и не учил мастерству игры. Но сам Доулят-Дурды², если бы был жив теперь, признал бы твоё первенство.

Один раз отец вернулся в кибитку раньше обыкновенного. Пыли на его халате было меньше, и голос звучал не усталостью, а испугом, сквозь который светилась радость. Это был испуг бедняка, боявшегося поверить неожиданной удаче.

— Где Халли? — спросил он голосом, которого никогда не слышала мать.

— Побежала за водой, — ответила старуха шепотом.

Отец присел на кошму и молчал некоторое время.

— Где Халли? — закричал он вдруг. — Куда ты девала Халли, старая сводница?

И такого гнева тоже никогда не слышала мать в его голосе.

Старуха поняла все.

¹ Хейли — знаменитая бахши-женщина.

² Доулят-Дурды — знаменитый тюйдукчи

— Кто? — спросила она скорей дыханием, чем голосом

— Еген-Ораз, сам Ораз-бай-Еген, — зашипел муж, еще не веря тому, что случилось. — Он обещает пять верблюдов, и сотню баранов, и новую кибитку нам с тобой. . . Еген-Ораз из аула Чее-Мурада.

— Еген-Ораз? — заплакала мать. — У которого зем-зем¹ пробежал под ногами? Что ты выдумал, старый?

Отец уже оттолкнул жену, выскочил из кибитки и легко добежал к колодцу на своих поджарых ногах чопана. Слезы тревоги заливали ему глаза. Он бежал, спотыкаясь о тени, но уши его были остры, и он слышал стон тьюдука и голос дочери. Так согласно можетлиться песня, если только певец и музыкант во всем согласны друг с другом.

Ах, в тот вечер Шукур-Арык мог убить отца своей любимой. Это Халли отвела руку чопана, когда отец потащил ее в кибитку. Разве она знала, что с ней случится потом?

А потом ее повезли на верблюде в аул, где жил Еген-Ораз.

Тропинка шла мимо отары, и свирепые псы исходили лаем, пытаясь ухватить верблюда за ляжки. Когда миновали отару, далеко позади вдруг послышался знакомый звук камышовой дудки. Халли уронила голову на плечо отца и запела.

Отец не дернул плечом и не крикнул: «Молчи». Он любил свою дочь, и сердце у него было как воск. Он молчал и лишь дал знак верблюду, чтоб животное шагало быстрее. Но отец так редко садился на верблюда, что совсем разучился знакам, какими погонщики разговаривают с животным.

Верблюд едва дернул шеей, а песня тьюдука не слабела, не затихала. Она вставала за спиной верблюда, как пыль. Это уж не придорожная ли пыль стала песней разлуки и печали? Она бежала, как тень,

¹ Зем-зем — большая степная ящерица, варран. По народному поверью, если зем-зем пробежит под ногами, человек становится немощен.

за караваном, и едва кончалась одна песня — начиналась другая, и с каждой новой песней Халли вспоминала каждый из прошедших вечеров, которым нет возврата.

Верблюды шагали целый день. И целый день не отставали тьюдукчи. Если бы овцы Шукур-Арыка в тот раз вздумали бежать за своим чопаном, они передохли бы все до одной от усталости и жажды.

Лишь когда зачернелись вдали кибитки аула, где Еген-Ораз поджидал невесту, песня оборвалась. Пыли здесь было меньше, и, откинувшись на седле, Халли увидела высокую папаху и красный халат Шукур-Арыка. В руках чопана был тьюдук. А потом внезапно дудка взлетела в воздух и упала на песок переломленная пополам. Шукур-Арык отбросил тьюдук и пел песню голосом которого Халли так никогда и не суждено было услышать больше.

Ах, как часто снилась потом жене Еген-Ораза эта песня разлуки и печали!

7

Вот какую большую промашку сделал Кеминэ. Он задумал песней склонить к себе сердце красавицы, когда ему надо было смеяться и шутить. Он пропел ей свою новую песню. Халли плакала, обхватив колени руками; и Кеминэ подумал — она плачет от любви к нему.

Он сказал:

— Ну, веришь теперь? Этой песни не слышала еще ни одна женщина.

И, напрягая свой уставший от жизни голос, он сделал вторую ошибку. Он запел вторую песню:

Влюбленный, средь соянных ветвей
Заснуть не могу, соловей.
Не сладивший с песнью своей,
Над розою алой тоскую.

Художники нашей земли
Бесценный кармин извели,
Подобной создать не могли.
И кто тебя создал такую?

Он пел, и Халли до того истекала слезами, что рубашка на груди ее, куда капали слезы со щек и носа, пошла полосами.

Шипами я грудь наколол,
С тобой не сажали за стол.
До смерти я в счет не вошел,
Одежду носил я худую.

Сгорит мое сердце в огне.
Не спросишь подруг обо мне,
Живет ли мой друг Кеминэ,
Зарыт ли он в землю сухую.

Это была очень хорошая песня. Ее сложил Кеминэ сегодня ночью, и даже песня про Огуль-бек, которую знает каждый туркмен, не могла сравниться красотой с этими словами, обращенными к насмешнице.

— Ну, веришь теперь? — спросил Кеминэ еще раз.

— Верю, — проговорила Халли сквозь слезы. — Конечно ты нищий человек, и одежда у тебя худая. Сними халат, я зашью его.

И кто поймет сердце женщины? То она убивалась от тоски, а то вдруг улыбнулась, и слезы высохли на ее глазах. Такая она была скорая на все — на брань, на слезы, на смех, а больше того на насмешку.

— Верно, верно, — повторила она, смеясь. — Только насчет обеда ты соврал. Тебя сажали на главное место, и тебе первому подвигали миску. Вот насчет того, что ты скоро умрешь, это, может быть, и верно. Мой отец был худой, как ты, и умер год назад.

Женщина, когда любит, сперва плачет, а потом смеется и дразнит любимого. Кеминэ все видел в своей жизни и знал все. Он отбросил дутару, схватил Халли за плечи и спросил:

— Если веришь, то когда же?

— Что — когда? — спросила Халли, ничего не понимая.

— Когда ты скажешь, что я ошибся в своей песне, и когда я докажу тебе, что ты ошиблась и мне очень далеко до смерти?

Халли перестала смеяться и сама ухватила за

рукав Кеминэ. Кто поймет этих женщин? Глаза у ней стали испуганными и голос нежным.

— Ораз вернется сейчас, — ласково сказала она, — теперь он не будет никуда отлучаться, наступают ораза. Знаешь, что? Конюшня у нас большая и чистая. Ораз не заглядывает к лошадям. Я им даю воду и засыпаю корм. Когда солнце будет садиться, спрячься там. Я пойду поить коней, и там ты можешь сказать мне все, что хочешь.

Вот Кеминэ и добился своего.

И вот как негодница Халли, красивей которой не было женщины в стране текинцев, провела бедного шахира, несмотря на то, что борода у него торчала вперед, как морковка, а значит, и сам он был хитрый человек — кесе.

Она послала его в конюшню вечером, когда солнце зарывается в пески, а уже наступила ораза, и в дни ораза в тот час, когда солнце зарывается в пески, мулла должен быть в мечети и скликать правоверных к молитве. А ведь Кеминэ был мулла, и только потому, что он мулла, Еген-Ораз и держал его в своей кибитке как гостя.

8

Солнце на небе в этот день застоялось, верно, дольше обыкновенного.

Наступил пост, и в ауле не дымилась ни одна печь. Ребята, не евшие со вчерашнего вечера, с завистью обступали собак, трудившихся над старыми костями, как будто никакого поста сегодня не было. Собаки, рыча, кидались то на одного, то на другого, и ребята с ревом бежали к кибиткам. Матери, не отнимая от груди младенцев, кричали с надсадой:

— Будет реветь-то. Закатится солнышко — успеешь наесться!

Ревевший ревел пуще и, озорничая, оттаскивал младенца от груди:

— Пусть тогда не ест и он!

Старики как бы невзначай вскидывали глаза к небу и чаще обыкновенного сыпали под язык едкий

табак, от которого под языком словно вспыхивало пламя и слюни делались горькими, как желчь.

Вот когда солнце закатится за пески, а глаз муллы не сумеет отличить рыжей нитки от черной и мулла прокричит свои молитвы, — правоверный до утра может хлебать шурпу или уминать плов, или, смотря по достатку, валять с десны на десну кукурузные зерна.

Ораз-бай чуть не с полдня стал готовиться к молитве. Он напялил на себя шелковый халат, велел Халли начистить тряпкой сапоги и достать из сундука новые кавуши.

Одеваясь, он похлопал себя по животу. Живот как живот: не растет, не пухнет. Молодец мулла! Он у аллаха, видать, такой же близкий человек, как великий кази-раис у хивинского хана. Подошел, шепнул на ухо: «Сделай, великий господин, чтоб живот у Еген-Оразы не пух, он мне за это подарит лучшего коня», — и все сделано.

Бай с любопытством покосился на Халли, которая низко склонилась над вышивкой.

— Ну, как ты? — спросил он с любопытством.

Халли перевела на него свои грустные глаза.

— Как у тебя, спрашиваю, все в порядке?

И, не став слушать ответа женщины, он вышел из кибитки.

«Надо бы мулле новый халат подарить, — думал он, степенно шагая мимо кибиток. — Некрасиво будет, когда он станет служить молитву в изодранной шубе». Он уже хотел было крикнуть, чтоб Халли достала из сундука халат, какой привез Еген-Оразу в подарок другой бай, но тут сердце скупца-богатея проснулось в нем. «А зачем мулле новый халат? — стал он думать. — Аллах на одежду не смотрит. Может быть, ему даже приятно, что служитель его такой скромный человек, не гоняется за наживой и не кичится халатами, как кичился мулла Пир. Лошадь я ему подарил. Хорошая лошадь, ей цены нет. Зря подарил, — вдруг оборвал сам себя бай, — ему и не усидеть на такой лошади. Вот кончится молитва, зайду в конюшню и угоню в пески, скажу, что разбойники украли. Мало ли лихих людей в степи бродит».

Пока он так беседовал и спорил сам с собой, солнце заглянуло за барханы, и облака в стороне Хивы стали красными. Еген-Ораз вскинул глаза к небу и заторопился к мечети, чтобы мулла до начала службы для него одного успел прочесть молитву, от какой зависело счастье его жизни. И опять ему повезло, как везло во всем. Еще ни одной пары кавуш не стояло у ворот, когда бай достиг ограды мечети.

— Мулла, мулла! А мулла! — захрипел он, сдерживая волнение. — Где ты, мулла?

В мечети не было никого, не было и муллы.

— И где только он шляется, этот мулла? — прошептал бай. — Этак не успеешь и рассказать ему про свою нужду. Сейчас напрутся старики со всего аула. Так и есть! Уж черт несет этого дохлого верблюда Анна-Кули. Тоже явился просить у аллаха милости. Чего ему не хватает? Небось сын опять в аламан отправился, вот и явился просить, чтоб привез добычу послаще. Того не понимает, старый колтоман, что ворованная добыча впрок нейдет. Одно беспокойство от аламанов! Фарсов разорят, а они в отместку на травливают курдов, чтобы угоняли текинские стада. Не старые времена, пора это баловство бросить... И Джан-Мамед тут же. Этот куда? У самого только и заботы, что на дутаре бренчать. За новой песней, что ль, в мечеть явился? Не туда попал. Небось не молла Непес в мечети служит, не... — Ораз-бай хотел подумать по привычке: «И не молла Кеминэ» — да вспомнил, что мулла-то их как раз Кеминэ и есть, и только заплевался. — Тьфу, тьфу, чертово наваждение!

И так, плюясь и ругаясь, он стал поджидать муллу.

Солнце тем временем давно упало за пески. Степь сперва стала рябой от косых лучей, а потом тени пропали, и степь стала ровной и гладкой, как такыр¹. В Гургендже, Хиве и Мерве муллы уж давно прокричали свое «ля илля», и не только верблюжий волос от

¹ Т а к ы р — ровные глинистые площадки среди песков пустыни.

бараньего, а быка поставь рядом с Ораз-баем, и то глаз не смог бы различить, кто бык, а кто бай, — такая на землю опрокинулась темнота. А Кеминэ все не было.

Старики дайхане поджидали его без особенного нетерпения. «Жили столько лет без муллы, один-то вечер обойдемся как-нибудь», — думали они. Но вот и последняя желтая полсса погасла на закате. Старики разостлали коврики, опустились на колени, ударили лбами в землю и без ропота на муллу поспешили к своим кибиткам, к горячей шурпе и сладкому вечернему плову.

Один Ораз-бай остался в мечети. И лишь когда у могильников завывли шакалы и по саксаулам прошел холодный ночной ветер, заторопился и он. И даже в конюшню не заглянул. До коня ли тут! Ох, и задаст мулле Еген-Ораз, если тот прохлаждается в кибитке, — живота не пожалеет.

Но Кеминэ не было в кибитке. Одна Халли хлопотала у очага.

— Где он, твой лодырь мулла? — закричал бай. — Я ему гнедого коня подарил за его старанья в молитвах, — а он где?

Халли только повела плечами.

— Если б я чопаном была при нем, тогда бы я его привела к тебе на веревке, — сказала она дерзко и склонилась над очагом.

Она поставила на ковер миску с шурпой и наломала чурека, как вдруг всплеснула руками и схватилась за голову.

— Ой, горе мне, — закричала она испуганно, — я ведь еще и ту скотину, что в конюшне стоит, не поила. Тебе кушак торопилась кончить. Эта вышивка оставит меня без глаз.

И она, ладонями прикрыла глаза, горящие, как два уголька на очаге счастья.

— Как не поила? — испугался бай. — Что ж, они так с утра и стоят непоеными? Беги скорей!

Но Халли не отнимала от глаз ладоней, точно ей было больно смотреть.

— Что мне делать? — причитала она. — Кони

стоят непоенными, а глаза как сажень засыпало. Ничего не вижу. Как пойду в темноте? Воду разолью иль ногу сломаю, в яму упаду. Сходи ты, Ораз. На степи ночь, никто не увидит, а тут пока и обед поспеет.

Ну, где это видано, чтоб мужчина брал ведра и тащился на конюшню? Да всякий муж за такие слова жены не знаем что с ней сделал бы. Но у Еген-Ораза все было не как у людей. Халли прикрыла глаза ладонями и принялась хныкать, а бай взял ведро и пошел на конюшню.

А на конюшне сидел Кеминэ.

И ведь вот какой был этот Кеминэ! Он даже рта не дал баю раскрыть. Схватил палку и, размахивая ею перед носом Ораза, стал кричать и браниться так громко, что бай совсем оторопел.

— Что ты? Что ты, мулла? — заговорил он. — Иль ты с ума сошел?

— Не подходи. кузнец, убью! — кричал Кеминэ, размахивая палкой. — Не подходи. Не посмотри, что ты араки нажрался.

И он действительно убил бы Еген-Ораза, если бы бай не ухватился за другой конец палки и не прокричал над самым ухом муллы:

— Какой кузнец? Это я, Еген-Ораз. Ошалел ты! Какая арака?

Ну, тогда и Кеминэ свой конец выпустил из рук, перестал кричать и обнял Еген-Ораза за плечи, как будто Еген-Ораз был ему сыном или братом.

— Ох, бай, это ты? — заговорил он радостно. — А я думал, это Чее-Мурад подбирается к лошадям. — И, не давая Оразу ни о чем спросить, он рассказал, как подошел он сегодня ночью к кузне и услышал, что Чее-Мурад подговаривал фаранга угнать у Еген-Ораза всех коней. — Я не хотел тебя беспокоить, бай. Сам решил справиться с разбойниками. Подумал, они еще и моего гнедого по ошибке уведут. Да и кобылку твою стало жалко. Такой кобылки нигде в песках нет. Вот и сидел тут до ночи, весь испачкался. Это я тебя за кузнеца принял. Хорошо, не убил-то.

На такие слова что мог Ораз-бай ответить?

Он стал благодарить муллу, обнял его как брата, сам своей рукой почистил его шубу, а потом напоил коней и позвал муллу ужинать.

Но все-таки его сильно перепугал рассказ Кеминэ. За едой он то и дело выходил в степь и слушал, не крадется ли к конюшне кузнец или фаранг. Кеминэ тем временем спрашивал Халли:

— Что ж ты обманула? Я поджидал тебя на конюшне.

И Халли отвечала серьезно и искренне, негодница, злючка Халли:

— Сперва тетка пришла, долго сидела, а потом бай из мечети вернулся, побежал к коням. Я думала, вы с ним подеретесь там.

И в гололе ее было столько тоски, что Кеминэ не стал сердиться, поверил всему и спросил торопливо:

— Но когда же?

— Завтра, — прошептала Халли, — завтра на мас-лобойке, где печь большая, в это же время. Только там крысы, захвати палку потолще...

И еще она хотела добавить какие-то слова, но тут в кибитку вошел бай. Халли замолчала, а Кеминэ сказал с веселой печалью:

— Вот как вышло, бай. Уцелела сегодня твоя кобылка.

И Еген-Ораз ответил радостно:

— Уцелела, уцелела, спасибо тебе.

А там пришло время спать, после сытной еды тянет ко сну, бай поторопился лечь и, засыпая, прошептал:

— Спасибо тебе, мулла, за все. А завтра все-таки не опаздывай на молитву.

— Как же, как же, — ответил Кеминэ, а сам подо-ждал, когда бай заснет, тихонько пробрался к конюш-не и отвел своего гнедого к кузне, неподалеку от мечети, чтоб он был под рукой, когда придет время посадить Халли позади себя и скакать, скакать, увозя в пески свое последнее, свое запоздавшее, несказанное счастье.

Махтум-Кули о любви писал так:

Из вечной чаши страсти я так хлебнул,
Что путь в мечеть, что крик абдала забыл.
Свой дух в котел кипящий я скунул
И, в чем отличие уст от жала, забыл.

Я, словно кем-то брошен среди песков,
Бреду и сам не слышу своих шагов...
Да разве дочь земли ты? Ты с облаков!
Я сень шатра, я сон привала забыл.

Завистлив стал, и жаден, и цепок я.
В своем безумстве стоек и крепок я.
В любом предмете вижу твой слепок я.
И чем коран мудрей кинжала, забыл.

Махтум-Кули в плену, бескрылый, встает.
Кружит плясун, и бай пред силой встает.
Я вижу всюду — образ милой встает.
И много ль выпил я иль мало, забыл.

Махтум-Кули умер много десятков лет назад, но песни, какие сложил великий гоклен, до сих пор волнуют сердце всякого туркмена, сиди он даже на мас-лобойке, где большая печь для хлебов, два жернова и оглобля, которую толкает лошадь, когда ходит по кругу.

Прошла ночь, прошел второй день поста. Опять бедняки, натрудившиеся за день без пищи, все чаще стали поглядывать на небо — скоро ли вечер? И вот опять над песками зарделся закат, и аул загудел, точно улей.

Всегда наш туркменский аул такой. Конечно, какой-нибудь бухарский или хивинский купец попадет в степь — от тишины оглохнет. Это у них там на базаре всякие лавки с шелками, сладями, халатами. Еврей хвалит свои товары. Узбек выскочил на середину улицы, рукой указывает на казан с пловом и орет: «Чистый баран! Чистый баран! Сладкий плов с перцем, с изюмом, с морковью! Миска — три тениги, полмиски — одна теньга с половиной!» Медники бьют

по кувшинам. В чайханах смех, крик. Чайханщик барабанит по подносу пальцами и затянул песню, в какой ни складу, ни ладу. Горшечник бьет по горшку рукояткой ножа, и горшок звенит, как барабан. Аскер проскакал на коне. «Берегись, берегись!» Две арбы сцепились оглоблями, скрипят колеса; ребенок заплакал. Встретились два купца, словно век не видались: «Саям-алейкюм!» — «Алейкюм-вассаям!» Рев верблюдов, лай, ржание коней. Вон старик бьет по голове мальчишку, который стащил с прилавка кусок халвы. Трещит аист. Перепелка в клетке бьет языком: «Кетты арба, кетты арба». Муллы в шелковых халатах спешат, как гуляющие девки, посередине улицы. Подмышкой у них книги и гусиные перья. «Кетт, кетт, дай дорогу почтенному мулле». Щеголи засунули розы под тюбетейки и наступают на ноги заезжим дайханам. Стражники провели старика. Локти его скручены за спиной, от рубашки одни лохмотья. «Поторапливайся, поторапливайся, шакалья сыть». Собаки грызут кости, вой, драка. А если эмир проехал из дворца на охоту или в летний гарем, тут такой гам поднимается!

Слава богу, у нас этого нет; да нам и не надобно. А только и туркменский аул гудит под вечер, как улей.

Трещат дрова на очаге. Бараны возвращаются из песков. На очагах пузырится шурпа. Ветер пересыпает песчинки. Пополз от кизяка сладкий дым. Чопан заиграл на туюдуке. Подними голову — небо над землей как сердце любимой, опусти голову — песок под ногами как дорога к счастью. По такому песку — вскочить на коня, любимая сзади, и скачи пять дней от колодца к колодцу. То же небо будет над головой и тот же песок под ногами, как дорога к счастью. Конь устал — прыгни наземь, стели кошму. Это и дом твой и свадебная постель. А подберется враг — нож у пояса. «Эй, кто там, слезай с коня! В последний раз ты видел сегодня солнце на небе. Ты пришел за красавицей? Знать, не для бедного чопана, для байской постели растил ее отец? Получай же! Ой, если бы нож мой был так же длинен, как твой, не лежать бы мне

на песке. Поцелуй меня последний раз, любимая! Шахир сложит песню о моей смерти, и бахши споет ее в твоём ауле...»

Шахиры сложили много песен о любви, и в каждой песне рядом со словами «любовь — счастье» были и другие слова, которые должно понять так, что любовь — это и великая мука, и дальнее странствие, и нелегкий труд.

Поток любви, взбурлив, на прибыль идет.
Ей сердце вновь одолевать пришлось.
Корабль души в волнах, как щепка плывет, —
Мне эти волны переплывать пришлось.
Был сон мой тяжёк, вздрогнул, проснулся, встал.
Что страсть не лёгкий труд, я в книгах читал,
Но это дело сладкой игрой считал,
И вот свой промах мне испустать пришлось...

Кеминэ сидел в маслобойке, поджидая Халли, и твердил стихи Махтум-Кули, когда Еген-Ораз и другие старики да из молодых кое-кто поджидали муллу в мечети.

И не успели они подумать: «Что это, куда опять запропал бездельник мулла?» — как в мечеть неожиданно появился кузнец Чее-Мурад. Халат его был нараспашку, папаха сбилась на затылок. Он еле держался на ногах и орал срамные песни.

Увидев стариков, которые спокойно сидели у новой ограды мечети, кузнец стал выкрикивать обидные слова так громко, что даже Кеминэ в своей маслобойке слышал все.

Вот о чём кричал Чее-Мурад:

— Мулла ждете, почтенные аксакалы? Как же, придет он! Мулла сперва спрашивает, сколько дадите, и лишь потом призывает милость аллаха. Кто взялся кормить муллу? Еген-Ораз. А есть ли на свете текинец, который был бы скупей Ораза? Тот год он подарил мне седло за то, что я сделал ему котел. А потом появился и седло отобрал. Станет у него жить мулла! Мулла небось сел на осла и убежал в соседний аул. Там сердар Клыч будет кормить его баранами, которых отбил у красноголовых. Эта собака сердар,

который не заступился за моего брата, и бедный Юсуп умер. . .

Чее-Мурад внезапно умолк и стал всхлипывать. Потом он утер слезы и снова принялся бранить Еген-Ораза и выкрикивать слова, каких не понимал никто, так как слова эти были не туркменские.

И что такое стряслось с Чее-Мурадом?

Он никогда не отличался умом, да с него ума и не спрашивали. У него железное сердце и железное было тело. Он мог наступить на черепашку, и кузов ее трещал под босой ногой кузнеца, как трещит орех между пальцами. И неустанный у него язык. Чее-Мурад молотом бил по наковальне, а дайхане слушали его брехню, как во время тоя слушают песни бахши, но когда ему приносили сломанный серп, он поднимал молоток и чинил серп. Или если ему приносили в починку кетмень, он чинил кетмень. И какое кому было дело до его головы? Чее-Мурад — кузнец и балагур, и если проезжий туркмен спрашивал: «Какой это аул?» — он никогда не слышал в ответ: «Это аул почтенного бая Еген-Ораза», — всегда отвечали: «Это Чее-Мурадов аул».

Но вот сердар Клыч уступил ему пленного фаранга — и точно кто подменил кузнеца. Ему принесут в починку серп, а он начнет бить молотом и сделает наконечник для пики, ему принесут кетмень, а он делает саблю. «Да ты ошалел, Чее-Мурад, — скажет дайханин, — мне в огороде Еген-Ораза лук копать. Зачем мне сабля?» А он грохнет молотом по наковальне и заорет, точно дювана: «Тебе лук в огороде копать, байский выкормыш? Уж не хочешь ли ты и кибитку себе лепить из глины, как сарт?»

А если в кузню зашло сразу пять или шесть дайхан, он совсем бросал работу; одной рукой он сжимал веревку, на которой был привязан фаранг, другую выставлял вперед, и глаза его были, как глаза терьякеша¹.

«Вы забыли о славе отцов, текинцы! — кричал он. — Отцы ваши и деды не копались в земле, как

¹ Терьякеш — курильщик опиума.

черви, они садились на коней и силой отбирали баранов и пленниц у неверных. Где ваша добыча, где ваша доблесть, текинцы? Вы были воинами, а стали пастухами и землеройками. А вы — джигиты. Надо пройти по земле, как проходил Тимур. Где была Хива, там станет степь, и текинские кони будут пастись на степи. Где была Бухара, ляжет озеро крови... Это море вашей славы, текинцы. Если Хиве на помощь придут урсы, тем хуже для урсов — наши кони напьются воды из Яика и Волги...»

Чее-Мурад совсем потерял разум и кричал всякие вздорные слова, точно в его сердце вселилась тысяча духов.

Дайхане качали головами и, расходясь, говорили друг другу сокрушенно:

«Совсем он не тот теперь, Чее-Мурад».

«Молотком сулил голову снести фарангу, а как с братом с ним в обнимку ходит».

«Заколдовал его пленный».

«Он, как кабан, теперь готов кинуться на каждого».

Вот и сейчас он горланил песни и кричал непонятные слова, а потом снова стал поносить бая, называя его такими именами, каких никогда ни один текэ не слышал от другого.

Еген-Ораз слушать эти обидные слова не стал, как не стал дожидаться и муллы. Он запахнул халат и побежал домой.

Лицо его было мрачней зимы, когда он вошел в кибитку. Он ничего не рассказал жене, опустил на ковер и пробурчал:

— Есть давай!

А Халли упала на колени возле очага и залилась слезами. Противень с кусочками сладкого теста стоял у ее ног.

— Ой, ой, не бей меня, бай! — заголосила она (как будто Ораз хоть когда-нибудь прикоснулся к ней). — Ой, не бей меня! Заготовила я жаренок, думала угостить тебя, хватилась, а масло все. Побежала к маслобойке, нога подвернулась. Теперь шагу ступить не могу.

Лицо Еген-Ораза побагровело от злости, и Халли захныкала:

— Был бы у меня сын или даже самая маленькая дочка, они бы сейчас принесли масла. А теперь кто пойдет к маслобойке?

Ай да Халли — она знала, что сказать! Ораз-бай поднялся и молча направился к маслобойке. Но он не отошел и пяти шагов, как Халли крикнула вдогонку:

— Ты, смотри, палку оставь, Ораз. У Анна-Кули, знаешь, какие собаки. Увидят палку, разорвут тебя на куски.

Кеминэ тем временем давно устал дожидаться. Он сидел на куче мешков возле печки и складывал новую песню о неверной любимой.

Заслышав торопливые шаги Еген-Ораза, он крикнул:

— Наконец-то!

Потом увидел, что это не Халли, а бай, быстро спрятался в печку и накрыл голову котлом.

У Ораза глаза были зоркие и уши острые. Что другое, а глаза и уши у него были в исправности. Он сразу заметил, как задрезжал казан, каким мулла накрыл себе голову. Одним рывком он открыл дверь и закричал, дрожа от ярости:

— Что ты тут делаешь, негодный мулла? Разве я затем тебя пою и кормлю, чтоб ты по печкам лазил, как фокусник, и посуду мне портил? Вылезай сейчас!

— погоди, постой, бай, — оборвал его брань Кеминэ, приподнимая казан, — не торопи ты меня. Небось не малый я мальчик, а мулла. Я еще и печи не вымерил как следует, да и казана толком не осмотрел.

Он посидел в печи некоторое время и вылез наружу. Но и тут он много разговаривать не стал. Схватился за оглоблю, куда ставят лошадь, когда жмут масло, сделал два круга и устало опустился на корточки.

— Вот негодяй Чее-Мурад, — проговорил он, утирая лоб шапкой. — Проходил я мимо кузни, слышу, кузнец срамит тебя. «У всех — кричит, — бай как бай. А такого жадного бая, как Еген-Ораз, нигде не сыскать. Он муллу позвал, а сам казана порядочного не

имеет. И в маслобойке у него осел ходит по кругу вместо лошади». Я вступился за тебя, а он свое ладит. Текинцы смеются. «Ну, — сказал я тогда кузнецу, — пойдем проверим и печь и маслобойку. Не может такое быть, чтобы у Еген-Ораза вместо коня ишак в оглобле ходил».

И Кеминэ опять быстро схватился за оглоблю и сделал два круга.

— Конечно, врет. И котел у тебя просторный, и маслобойка как у других. Для осла такой длинной оглобли не надо. А только не пришел кузнец. Меня, старика, заставил в пыли да в грязи возиться. Я думал, это он идет. Ох, и задал бы я ему!

Еген-Ораз очень сердился, поджидая муллу в мечети. Но теперь он сразу сменил гнев на милость и сказал с ласковой укоризной:

— Спасибо тебе, мулла. Только нехорошо, что ты, в заботах о моем добром имени, совсем забыл о молитвах. Я не сержусь, а другие старики обижаются.

— А так им и надо! — живо подхватил Кеминэ. — Когда Чее-Мурад тебя поносил — заступился хоть один? Как же! Больше других хохотали. Они все завистники, и в мечеть ходят лишь затем, чтобы выпросить у бога то, что он собирался дать тебе.

Лучшего Кеминэ не сказал бы, ломай он голову хоть целый день. Он помянул про завистливых стариков, и гнев Ораз-бая сразу нашел себе пищу. То он готов был вылиться на бездельника муллу, а тут накинулся на тех, кто только и знал, что смеяться над баем. Особенно досталось Чее-Мураду. Уж чего не напридумал для него бай. Да этому треклятому кузнецу надо башку пробить молотком, как он пробил голову иомудскому охотнику! Да его палками до Хивы гнать мало! На кол его посадить! В котел бы его бросить с горящим маслом! Копытами его потоптать!

Кеминэ уж на что не любил Чее-Мурада, а и его взяла оторопь. «Что это будет с кузнецом, — подумал он, — если дать волю баю».

Добрый час, не меньше, Еген-Ораз кипел злостью а потом вдруг остыл и вспомнил о еде.

— Поешь с нами, почтенный мулла, — сказал он, — и иди спать в свой новый дом возле мечети. Там все приготовлено. И кузня недалеко. Может, услышишь что от Чее-Мурада про меня и мне скажешь.

Халли поджидала мужа с нетерпением и встретила с настоящей радостью.

— Как ты долго! — сказала она. — Я уж испугалась, не избил ли кто тебя палкой. . .

И с этими словами она взглянула на Кеминэ так, что у великого шахира едва не помутился разум.

Во время еды Ораз-бай несколько раз выходил из кибитки и подолгу смотрел в сторону кузни, и у Кеминэ было достаточно времени, чтобы шепнуть Халли:

— Ты опять обманула. Когда же?

И вот как пословицы никогда не врут. Пословица говорит, что сколько женщина ни клянись, ей все не сказать правды. Так оно и было. То Халли клялась, что в кибитке им объясниться нельзя — услышит Еген-Ораз, а то вдруг сказала совсем другое.

— Чего нам прятаться по конюшням да по маслобойкам, — зашептала она, словно это ей пришлось лезть в печь или сидеть до полуночи в конюшне возле коней. — Ораз-бай дурак. Умный давно бы догадался обо всем. А он как слепой. Давай завтра ночью встретимся здесь, в кибитке. Подожди, когда он уснет после молитвы, и приходи.

Старый шахир не стал дожидаться бая и поспешил к мечети.

Ему не терпелось накормить досыта полученного от бая в подарок гнедого коня на случай, если завтра, хватившись жены, Ораз-бай кинется за ними в погоню.

10

А лошади не было.

Двери кузни, возле которой она простояла весь день, были настежь. Птичий халат фаранга и пустая бутылка валялись на земле, а на кошке возле наковальни лежал Чее-Мурад, связанный по рукам и но-

гам. Фаранга тоже не было. Веревка, какой он был привязан к кузнецу, теперь крепкими узлами скрутила ноги и руки Чее-Мурада.

Рот кузнеца был заткнут кушаком.

Кеминэ вынул кушак, и Чее-Мурад рассказал ему все, как было.

«Чее-Мурад» для текинского уха понятно как «хитрый Мурад». Только не всякому имени верь. «Оразбай» — «Постный бай» — это так. «Кеминэ» — «На все готов» — это тоже так. А кузнеца лучше бы назвать «баран Мурад» или «кяклик Мурад», потому что нет животного глупее барана, нет и птицы глупей, чем кяклик. Пленного фаранга кузнец привязал веревкой к кушаку и выводил его на работу, как водят лошадь под уздцы. Фаранг не сердился и не кричал, он работал целый день, раздувая мехи, чтоб огонь горел жарче, а как вечер — доставал из кожаного сундучка бутылку и говорил кузнецу: «На, хлебни. Ваш пророк запретил вино из виноградных лоз, а это арака — сок земли. Выпивший ее становится могуч и непобедим».

Чее-Мурад — любопытный человек. Он хлебнул араки один раз — душа его вспыхнула огнем и стала птицей. Фаранг каждую ночь давал ему араки, и кузнец каждую ночь, как птица, летал над песками. Фаранг открыл кузнецу, что он вовсе не Чее-Мурад, а новый Тимур. Его дело не ковать серпы, а поднять текинцев, а вместе с ними и иомудов и салыров, собрать джигитов и идти войной на Хиву, на Бухару, а еще лучше, если на страну урсов. Фаранг все видел на земле и знал все. Он сидел у хивинского хана во дворце, и сам хан слушал его советы, как свое сердце. Чее-Мурад хлебал араку и слушал советы фаранга.

А потом арака пришла к концу. Фаранг сказал, что беда невелика. Надо украсть у Еген-Ораза мешок пшеницы и сделать из зерен напиток храбрецов. Фаранг сказал, что пусть ему Чее-Мурад развяжет руки и он сам украдет пшеницу.

Хитрый Мурад его развязал. Фаранг повалил кузнеца на пол, снял с него одежду и веревкой скрутил

ему руки. Потом он вспрыгнул на гнедого, подаренного баем Кеминэ, и ускакал в степь.

— Мулла, — закончил кузнец свой рассказ, — развяжи мне руки, и мы унесем у Ораза из ямы два мешка пшеницы. Потом мы украдем байских коней и поедем бить хивинцев... Я стану эмиром, а ты будешь моим кази-раисом. Ты хитрый человек, и нам с тобой наплевать на пастухов и тех, кто готов всю славу отцов закопать в землю, лишь бы росли на огороде морковка и лук.

Мурада можно бы назвать и Дювана-Мурад, что значит — Безумный Мурад. Он кричал и бранился до самого рассвета, но Кеминэ его слушать не стал. Он пошел искать осла, который, конечно, не скаковой конь, но достаточно силен, чтоб унести в пески шахира вместе с Халли.

Осла он нашел быстро. Верное животное было сыто и даже отказалось от клевера. Верно, Халли, готовясь к побегу, сама позаботилась, чтоб ноги осла были крепки и живот туго набит ячменем и клевером.

В эту ночь Кеминэ и сложил свою песню о возлюбленной, слезы которой так же душисты и ароматны, как сок мургабских дынь, а сердце холоднее снега.

На небе острая луна
Кривым нсжом разрежет дыню,
И потечет по капле сок
Слезамии милой на пустыню.

Лишь тот спокойно спит, как дети,
Кто не видал, как колтоман
В мешке на старом ишаке
Жену увозит на рассвете,

Но кто услышал стук калитки
И на сыром нашел песке
Мужской и незнакомый след,
Лишь только вышел из кибитки, —

Тот сам садится на осла,
Глятит безумными глазами
И видит — черная луна
Плывет над черными садами.

Луна, луна, зачем любовь
Ты бросила, как вихрь в пустыню,
В мою немолкнущую кровь —
К Халли, чьи слезы — сок из дыни...

Очень нам трудно бывает понять сердце шахира. Кеминэ готовился украсть Халли, а сложил песню, как будто у него пропала возлюбленная. И когда заснул, во сне он увидел аул Токлы-яшеноков и свою беспутную щеголиху жену, которую увозит на осле незнакомый молодой всадник.

11

Кеминэ всю жизнь никуда не торопился. Он даже смеялся над теми, кто спешит да торопится. Его и побили за то один раз. Рассказывают, будто он ехал тогда на свадьбу в далекий аул вместе с баем, которого звали Гуджюк-бай, что значит — бай-щенок. Бай очень боялся опоздать и то и дело подгонял Кеминэ, которому было все равно — медленно или быстро шагает его осел. Кеминэ останавливал каждого встречного и заводил с ним долгие беседы, а бай кричал и бранился и наконец вывел поэта из себя.

— Чего ты рычишь, бай-щенок, — сказал тогда Кеминэ, — иль торопишься собакой стать? Небось не опоздаешь.

Конечно, проезжие туркмены стали смеяться, а бай до того рассердился, что несколько раз ударил Кеминэ палкой и ускакал вперед.

Кеминэ потерял ушибленное место и крикнул ему вдогонку:

— Я ошибся. Вижу теперь ты уже давно не щенок и зубы у тебя острые.

Кеминэ всю жизнь было все равно — медленно или быстро шагает его осел, но на третий день оразы заторопился и он. Только миновал полдень, а он уж опустился на корточки у ворот мечети и нетерпеливо стал поглядывать на небо, по которому медленно, точно его тащит на веревке усталый осел, катилось грузное солнце.

Ах, с какой бы охотой подогнал его Кеминэ палкой, но как дотянешься до солнца!

Еще облака на закате были красными и песок желт, как он уж сложил руки, как их складывают муллы, начиная службу, распахнул широко ворота мечети и во все горло запел молитву.

Только он был не настоящий мулла, и ему не доставляло удовольствия петь молитвы. Поэтому руки-то он вскинул к небу, как это делают муллы, а выкрикивать стал слова песни, какую сложил в честь Халли минувшей ночью. В мечети еще никого не было, а дайхане, работавшие на своих огородах, услышав выкрики муллы, подумали: «Вот кончился еще один постный день, наступил вечер, мулла читает молитву, и можно будет приступать к пище».

Подумали так и в кибитке бая.

Ораз-бай сидел перед холодным очагом, когда Халли выбежала в степь и вдруг вернулась крича:

— Чего ты сидишь дома, бай? Мулла давно в мечети и орет там свои молитвы на весь аул.

Еген-Ораз вскинулся. Беда какая! Проспал молитву! Как же так, и солнце еще на небе?

Он не стал переодевать халат и накручивать на лоб чалму; в чем сидел дома, в том и кинулся к мечети. И уж со всех кибиток бежали к мечети старики, руками придерживая папахи и теряя кавуши.

Но как ни торопились они, к молитве все-таки опоздали.

Едва они успели вбежать за ограду мечети, как Кеминэ прокричал последний раз: «Алла!» — провел ладонью по бороде и вышел им навстречу.

Но старики не рассердились на такую поспешность муллы и второй раз читать молитву не просили. Они были туркмены, а не бухарцы. Это бухарский бай или торговец скорей проглотит язык, чем нарушит закон. Опоздавшие дайхане были даже рады, что у них такой торопливый мулла. Отбарабанил свою молитву, и теперь каждый может насыщаться, как хочет. Они не стали разговаривать долго и, придерживая халаты, поспешили к своим кибиткам торопить стряпух.

Еген-Ораз тоже не рассердился. Голодное брюхо его кричало громче, чем какая-либо другая часть из всех двенадцати, и он даже пошутил, что с ним бывало не часто:

— Вот говорят, будто обогнуть солнце не может самый быстрый скакун, а твой язык, мулла, и солнце обскакал. Он, верно, очень наголодался за день, что так спешил.

И Еген-Ораз, как всегда, пригласил муллу в свою кибитку отужинать с ним вместе.

— Эх, бай, — сказал Кеминэ задумчиво, — голод утолить просто, а вот который день меня томит жажда и чем утолю ее?

Кеминэ, как все шахиры, жаждой называл любовную страсть, но Еген-Ораз подумал — он просто хочет пить.

— Идем, идем, почтенный мулла, — сказал он, — в моей кибитке ты найдешь все, чтобы утолить и голод и жажду. Халли — добрая стряпуха, ей цены нет.

И с этими словами он отдернул кошму, скрывавшую вход в кибитку. Луч вечернего солнца упал на ковер. Халли прижимала к груди большую дыню, и розовый луч солнца пролился ей на грудь, как дынный сок.

12

За едой Кеминэ пристально, насколько это разрешали приличия, рассматривал Халли. Какие у нее густые брови и проворные руки! Словно он видел ее первый раз. Такие проворные руки были у его второй жены — щеголихи. Она тоже говорила ему «люблю», а потом упирала руки в бока и кричала: «Привези мне с базара шелковую койнек¹!» или: «Почему у соседки вся грудь в серебряных монетах, а у меня десять медяков, точно я жена попрошайки?»

И как часто бывает с шахирами, которые уже жили в стихах свою страсть. Кеминэ вдруг почувствовал в своей груди острую боль тоски.

¹ Койнек — рубашка.

— Ты ведь уже не молод, Кеминэ, — сказал он сам себе тихо. — О чем ты хлопочешь, Кеминэ? — И подумал, что, может быть, следует тихонько выйти из кибитки, сесть на осла, сказать ему «кх, кх» и отправиться куда глядят глаза — к Токлы-яшенокам или в Хиву, где томится пленница сердара с лицом как соль. Кеминэ охотно отдаст за нее осла. Ребенок ее станет слушать сказки и песни, смеяться и, пуская слюни, хватать Кеминэ за бороду.

Но едва Кеминэ вышел из кибитки, как Халли подскочила к нему и шепнула испуганно и нежно:

— Бай сейчас заснет. Он будет спать до утра. Приходи, как только услышишь, что он захрапел.

Кеминэ был не молод, но он был великий шахир и всю жизнь складывал песни про красивых женщин, в голосе которых нежность и страх. Он сразу забыл о жене-щеголихе и о пленнице сердара и с нетерпением стал похаживать вокруг кибитки.

Халли тем временем начала кашлять и хвататься за грудь, точно и у ней, как у Кеминэ, в груди ночевала боль.

— Ой, Ораз, — сказала она, прокашлявшись, — ты здоровый человек. Вон у тебя какая здоровая и толстая грудь. Прошу тебя, ляг сегодня с той стороны, где сплю я. А я засну на твоей постели. Меня продуло ночью.

Конечно, не годится жене лежать с непоказанной стороны, но ведь только когда витит посторонний глаз, надо делать все, как велит обычай. Ораза клонило ко сну, и он не стал затруднять свое сердце раздумьем, что прилично и что неприлично, сказал только:

— Вечно ты что-нибудь придумаешь!

И лег, как хотела жена.

-- Но здесь все-таки сильно дует, — продолжала негодница. — Ты хоть и сильный человек, а надует тебе голову; и будешь больной. Дай, я тебя укутаю!

И она укутала Еген-Ораза с головой, а потом улеглась сама и тоже укрыла голову одеялом, а свой берык положила у изголовья мужа.

Вот так лежат они вдвоем в белой кибитке — старый муж и молодая жена. Кибитка как опрокинутая чаша

над их закутанными головами. Осенняя звезда Ялды-рак висит над дымовым отверстием. У изголовья их — пустыня, а под одеялом тепло. Кибитка новая, белая. В такую ни фаланга не забежит, ни скорпион не заберется. У кого еще в ауле такая кибитка, как у Еген-Ораза? Ей цены нет. Когда чопан на рассвете гонит баранов в пески, он смотрит на жилище бая и говорит вполголоса: «А, чтоб вы подошли, чертовы баи, со своими потаскушками!»

Ораз сперва спал беспокойно, он стонал и шептал молитвы, а потом вспомнил про Чее-Мурада, и много бранных слов произнесли его дремлющие губы. Но Халли повернула его голову щекой на подушку, и сон бая стал глубок. Губы его умолкли, зато нос стал вроде тьюдука и две жирные лягушки заквакали в его бабьей груди.

Кеминэ только и ждал, чтоб бай захрапел. Он поспешно приоткрыл дверь, приблизился к постели, где обыкновенно спала Халли, и осторожно и одновременно настойчиво тронул того, кого он принял за Халли.

Кеминэ многое перевидал за свои годы и знал все, но такой минуты, какая наступила вслед за той, когда он попытался разбудить Халли, никогда с ним не случилось в жизни.

Даже трудно рассказать, как это все было.

Бай вскочил и не то что закричал — залаял, словно он тоже долгое время был Гуджюк-бай и теперь стал взрослой собакой.

Какие только слова не вылетали из его глотки! Все, что он сулил вчера Чее-Мураду, теперь он посулил Кеминэ. Он кузнеца на кол хстел посадить, а муллу грозился живьем закопать в песок, змей ему за пазуху накидать, какими-то крючьями сердце его поганое вырвать и бросить собакам.

Он такое понапридумывал, что Халли под одеялом искусала себе руки и чуть не умерла со страху. Она хорошо знала Еген-Ораза и не сомневалась, что все это так и будет, как он сказал.

— Бедный Кеминэ! — шептала она. — Бедный, бедный шахир! Что я наделала!

Конечно, Кеминэ был бедный человек, но Халли убивалась зря. Еген-Ораз сделал ошибку, какую в свое время сделал и мулла Пир. Они оба начали с ругательств, точно не знали, что если дело дойдет до слов — Кеминэ не одолеть. У Кеминэ во рту был язык Кеминэ.

Кеминэ и призвал на помощь свой язык.

— Чего ты кричишь, бай! — сказал он, стараясь казаться спокойным. — Я испугался, что аллах не послушал моей молитвы и ты все-таки начал пухнуть. Вот я и пришел проверить.

Но нет, бая этим не проведешь. Змею, должно быть, и можно уговорить словами, чтобы она уползла в свою нору, но гнев и стыд бая были сильнее всякой змеи. Он затряс головой, как бык трясет рогами, и даже оскалил зубы.

— Будет! — закричал он. — Меня не проведешь. Зачем у меня станет пухнуть живот? Только того, кто оскорбил муллу из рода Махтум, наказывает аллах. А Кеминэ — Токлы-яшенек, из рода Бахши, текинец. Или, может быть, ты вовсе и не Кеминэ, а беглый куль¹, вроде фаранга, — тогда мы продадим тебя в Хиву или забросаем камнями.

Он опять стал ругаться, вместо того чтоб схватить палку. И Кеминэ уже снова ничего не боялся.

Если змея не слушает одного слова, ей говорят другое; она не слушает другого — найдется третье. Еген-Ораз очень кстати напомнил про фаранга.

— Хорошо, бай, — сказал Кеминэ тихим голосом, — я не хотел говорить правды, чтобы не пугать Халли, которая плачет с испуга, боясь, что аллах убьет тебя за нечестивые слова. Чее-Мурад опять смеялся над тобой. Он кричал, что ты сегодня ночью собираешься в Хиву и что, как только уедешь, он проберется в твою кибитку и надругается над твоей семьей. Я и захотел убедиться, что это ты лежишь, а не он...

Если змея не послушалась одного слова, ей говорят другое, третье, двадцатое — и она покорно ползет в нору. Кеминэ сказал двадцать слов, и Еген-Ораз

¹ Куль (кул) — раб.

проглотил язык. Он не стал дослушивать шахира, схватил халат и опрометью кинулся к Чее-Мураду.

Кеминэ и Халли опять остались вдвоем. Но Кеминэ даже не сказал Халли «прощай». Он отдернул кошму и вышел в степь. Осел его был сыт и не стал дожидаться, когда хозяин скажет свое «кх, кх», он сразу пошел вскачь и вынес Кеминэ в просторную степь, за которой лежала Хива, но за которой также лежал и аул Токлы-яшеноков.

13

Весь остаток ночи Кеминэ подгонял осла и не устывая повторял стихи, которые полвека назад сложил другой обманутый шахир. Только красавицу, обманувшую Махтум-Кули, звали не Халли, а Менгли.

Я, горюющий соловей,
Неземного сада лишен.
Я, чьи слезы — алый ручей,
Той, кого мне надо, лишен.

Той, чьи косы — черный агат,
Тсй, над кем мотыльки дрожат,
Той, в чью честь напевы звучат.
Той, чья речь услада, — лишен.

Семь эдемов подвластны ей,
Этой ханше земных страстей!
Я янтарных ее грудей,
Я всего их яда лишен.

Я в тоске с головы до пят,
Для меня и гнев ее свят...
Я бровей, где бури шумят,
Я разбоя взгляда лишен.

Хочет шалый Махтум-Кули,
Чтоб стихи пред милой легли, —
Но ведь он красоти Менгли,
Что была б им рада, лишен.

— О, Халли! — говорил Кеминэ и плакал так обильно, что осел подумал — идет дождь, и удивился, почему песок остается сухим.

Так ехал Кеминэ, держа руку у груди, где болело и билось его тревожное сердце, и осенняя звезда Ялдырак висела на темном небе. А потом небо стало светлеть. Светлело быстро. Не успели еще обсохнуть слезы на глазах Кеминэ, как уже новым солнцем разгорелся новый день над песками.

Ах, какой это был веселый день! Жаворонок, спавший у корней кандыма, увидел краешек медно-красного светила, взлетел и с восторгом стал повторять тысячу и одно имя, какими именуют владыку вселенной. Он успел пропеть тысячу имен, когда забыл последнее, самое главное. Тогда он камнем упал к земле, чтоб поднять это выпавшее имя. Нашел и снова взлетел. Вот уже он опять повторил всю тысячу имен, а тысяча первое ускользнуло на землю. И вновь он упал камнем и опять взмыл к синеве. Так много раз подряд, и никак ему не давалось это последнее, ускользающее, живое и главное слово.

Кеминэ слушал песню жаворонка и тихо смеялся. Это утерянное слово лежало сейчас в его сердце и просилось наружу. Всю жизнь он готовился сказать его, но всякий раз вставала помеха, и главное слово лежало в груди его как мертвый цветок. Сейчас он в степи один. Добрый осел перебирает ногами по доброй земле. Доброе небо над ними, и под ногами добрый песок. Сейчас Кеминэ скажет это главное слово, и жаворонку не придется двести раз на дню то взмывать к синеве, то падать на землю, где пыль и грязь. Вот Кеминэ уже открывает рот, и добрый язык его уже ударяется о зубы. Говори, говори, Кеминэ!..

Сколько раз в своей жизни Кеминэ готовился промолвить это главное слово, и всякий раз вставала помеха. Так и сейчас. Уже слово висело на кончике его языка, словно добрый плод, когда осел поднял голову, напряг хвост и заревел на всю степь печально и страшно.

Кеминэ сейчас же сомкнул губы, и был крик осла как бы угрозой всему темному, запутавшемуся в обмане, неправильному миру.

Когда Кеминэ задернул кошму, и погас лунный свет, который стоял посреди кибитки, как зеленый столб, густой мрак окутал сердце Халли. Она откинула одеяло и злыми глазами смотрела в темноту, поджидая Ораза. Но Еген-Ораз не возвращался. Тогда Халли укрылась одеялом и залилась слезами.

— Неужели он ушел навсегда и не вернется, мой бедный Кеминэ? — причитала она, и потоки слез заливали одеяло и богатый ковер, служивший ей постелью.

Но вот на степи поднялся шум. Халли поправила волосы и надела берык.

Слышно было, как из соседней кибитки выбежали женщины, завывали собаки. Потом кто-то пробежал мимо, крича истошно: «Халли, Халли! Ораз!» — и тень от бегущего проникла через щель в кибитку, метнулась с ковра на одеяло, пробежала по плечу Халли и исчезла.

Что там такое?

Халли только успела оставить постель, как в кибитку вбежали три соседки. Они всплескивали руками и кричали, что Чее-Мурад молотком размозжил голову Еген-Оразу, но подросли племянники бая и палками забили кузнеца насмерть.

И вот — кто поймет сердце женщины? — то Халли металась под одеялом и плакала, а тут сразу утерла глаза и сказала голосом твердым, как железо:

— Какая беда! Кто прочтет над мертвым молитву? Надо вернуть Кеминэ. Вы приготовьте покойника, а я поеду за муллой.

Она надела на себя платье убитого мужа, за кушак засунула нож, на голову надела папаху, взяла в руку туюдук и, сразу став по виду молодым бахши, вскочила на коня и поскакала вдогонку Кеминэ, в степь, в ту сторону, где за песками лежала Хива.

Какой она оказалась упрямицей, красotka Халли. Она смеялась и твердила: «Не верю!» — когда Кеминэ клялся в любви и слагал для нее свои песни; она во-

дила его за нос и посылала то в конюшню, то на ма-слобойку и, чтобы обмануть его, переменялась местами со своим мужем. А теперь он уехал, не сказав даже: «Будь здорова!» — и уже сердце ее полно обиды, тревоги и любви. Она бросила богатство и убитого мужа, тюйдук у ней перекинут через седло, она торопит коня, и сердце ее полно тоской, как и в тот далекий всчер, когда Шукур-Арык играл для нее свою песню разлуки и печали.



К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я

1

Среди песков Кеминэ и встретил моллу Непеса.

Нищий шахир ехал не торопясь, потому что торопятся только вор да бездельник, которому не жаль заморить коня. А кто про Кеминэ скажет: «Вот вор!» — когда он даже сердце красавицы Халли не мог похитить? Впрочем, он и не вспоминал о ней больше. Какая тебе польза, когда ты говоришь: «Мед, мед», — от этого во рту не будет слаще.

Он ехал не торопясь и не заботился о дороге. Всякая тропинка ведет куда-нибудь. Солнце поднималось на небо и зарывалось в пески. Кричал осел, поднимая хвост. Черепахи выползали из нор и уползали в норы. Открывал свою пасть зем-зем, и Кеминэ тихо смеялся, когда зем-зем пробегал между копытами осла. Животное было слишком дряхлым, чтоб ему принесла вред зубастая ящерица.

Когда уходило солнце, поднималась луна. А потом гасла луна и вздымалось солнце. Или поднимался ветер, и тогда солнце не всходило. Какой шум тогда стоял в пустыне! Жуки и мухи, распутив крылья, с сухим треском летели по ветру. Каждая песчинка била о песчинку, и каждый стебелек стучался в кузов черепахи, как прохожий бедняк зимней порой стучится в двери байской кибитки. Хоть съешь, а приютя.

А саксаулы? А лиловые верблюжьи колючки? А борода? Борода шумела, как осенний сад, когда разыгрывался ветер. А сердце? Оно болело и билось, билось и болело все сильнее. Можно было оглохнуть от шума, какой возникал в этом мире, когда вдруг на землю опускался ветер.

Кеминэ ехал не торопясь и не заботился о дороге. Куда ему спешить на этой доброй земле? На плечах его шуба из ста заплат. В мешке его сухая лепешка и три тениги. По ночам ему светит звезда Ялдырак. Каким он прожил свою жизнь, Кеминэ, таким и умрет. Вот ветер ударил ему в лицо; шахир поворачивает осла, и ветер дует ему в спину. Все тропинки ведут куда-нибудь, и каждый день нас приближает к смерти.

Кеминэ не мешал своему ослу выбирать дорогу, и мудрое животное вынесло его к колодцу, где шахир увидел моллу Непеса.

Высокий текинец, сидя на вороном жеребце, играл на дутаре. Он тоже ехал издалека, но халат на его плечах висел такой, как висят халаты в хивинской лавке, — блестящий и новый, и ни одной пылинки не застряло в его бороде.

Он играл на дутаре, но пальцы его двигались так незаметно, еле-еле, что струны не пели, а только шептали; можно было подумать: это просто ветка саксаула ударяет о ветку, и не под звон струн, а под звон сухих листьев поет черноглазый мальчик, тот, что сидел на коне позади высокого текинца. На плечи мальчика спадали длинные косицы, и голос у него был нежный, как у двенадцатилетней девочки.

Мальчик пел:

Райской розы лепесток
Снова мне на сердце лег.
Ты взглянула и прошла,
От любви я изнемог.

Для влюбленных в мире нет,
Думал я, ни зол, ни бед.
Я в огонь любви вошел.
Вышел, вижу — стал я сед.

Черный зреет виноград.
Ночью ты придешь ли в сад?
Роза белая весны,
Сладок мне твой сладкий яд.

Это было смешно, что мальчик поет о муках страсти и о седилах, но высокий текинец не смеялся. Не смеялся и Кеминэ. Нищий шахир как только завидел колодец, припустил своего осла вскачь и закричал:

— Нефес! Нефес!

Молла Непес в свою очередь тронул коня. Мальчик все еще пел про огонь любви, когда Непес оставил дутару и сжал Кеминэ в объятиях.

— Ты жив? Ты жив?! — говорил он с неподдельной радостью. — Отец и брат, сердце и очи мои, великий Кеминэ, ты жив?

Кеминэ был рад не меньше.

— Ну вот, ну вот, — говорил он, смеясь, — что потеряешь в одном месте — найдешь в другом. Я и сам так думал, что мое дыхание¹ еще не совсем оставило меня.

И он обнял моллу Непеса, на глазах которого стояли слезы.

2

Всякий туркмен — будь он текинец или иомуд, или даже будь он канительщик чаудур — улыбался, когда слышал имя Кеминэ.

Только помяни веселого шахира — тут уж бездельник забудет свое безделье, кузнец бросает молоток, сапожник оставляет сапоги, у чопана в стаде волк пусть перережет половину овец; всякий туркмен забудет о своих делах, опустится на корточки и хохочет, приговаривая:

— Уж этот Кеминэ!

Но и моллу Непеса знает каждый.

¹ Слово *не п е с* (правильнее — *нефес*) означает: дыхание, вздох.

Только никто не улыбался, когда слышал имя, подобное дыханию: «Нефес!»

Песни о горестях любви, сложенные Непесом, знает тот, кто влюблен. На свадебном тое их поют бахши, и гости сидят, опустив головы, и утирают слезы. У джигитов горят уши и светятся глаза; старики вспоминают свою молодость и руками прикрывают бороды, — да верно ли, что они аксакалы? Когда бахши поет песни моллы Непеса, сердце в груди каждого горит и бьется, как в тридцать лет. Тут каждому впору схватить туюдук и бежать к колодцу, поджидая красотку.

«Не ищи меня, я мертв — меня испекли твои глаза», — поют бахши.

Я солгал тебе, — мне душу исцелили твои глаза.
Кто видал тебя, тот скажет — меня казнили твои глаза.
О, когда б всю жизнь в душе моей гостили твои глаза!

Нет такого сердца, которое не томилось бы мукой любви, когда бахши поет песни моллы Непеса. Печальнее их нет песен на свете, и имя моллы Непеса для текинського уха так же сладко, как имя Навои, Физули или Махтум-Кули.

«Пройдут века, — рассказывают бахши, — земля изменит свое лицо и станет иной; народы смешаются друг с другом, и урс станет братом текинцу, а краснобородый фарс забудет покупать гоклена на базаре, как верблюда; может быть, Аму-Дарья изменит свое течение, на пустыне вырастут пшеница и хлопок, а жепщина, открыв лицо, сядет рядом со старейшинами своего аула, и мусульмане откажутся от оразы, — все равно, пока светит на небе солнце, а в груди бьется сердце, пока туркмен сидит на коне, до конца веков человек будет утирать слезы, услышав песню Нефеса про страдания Зохраны и Тахира, как будет улыбаться, заслышав имя Кеминэ. Если собрать все слезы, что вызвал Нефес своими песнями, — говорили бахши, — то в соленом озере утонут шутки старого шахира, а все эти печали плотным облаком скроют солнце».

И вот в сухих песках, между текинским аулом и

ханской Хивой, осел столкнул двух шахиров — поэта-улыбку и поэта-дыхание, а мальчик с косицами был Кары-Оглан¹. Слава об обоих шахирах широко катилась по пескам, но и Кары-Оглана тоже поджидает слава. Только это будет не раньше, чем Кеминэ ляжет в могилу, а Непес с полным правом скажет про себя:

Я в огонь любви вошел,
Вышел — вижу, стал я сед.

— Ты совсем живой. Кеминэ, — говорил Непес. — А в Ташаузе болтали, будто тебя убили колтоманы.

— Нет, нет, Непес. Это все врут про меня. Ведь и про тебя врили, будто ты захлебнулся собственными слезами. В Ташаузе я собирался проучить одного разбойника, но осел помешал мне доделать дело до конца.

— Ай, ай, — говорит молла Непес, — как много диких людей на земле!

— Далеко ли путь держишь? — спрашивает, помолчав, Кеминэ, которому уже прискучило обниматься.

Молла Непес смахнул слезу и дутарой указал на мальчика с косицами.

— Вот везу жеребенка на свадьбу к Шукур-Арыку: хочет обскакать знаменитых скакунов — Даулет-Дурды и самого Кер-Коджали.

Потом он опять обнимает старика и спрашивает в свою очередь:

— А куда влечет дорогого Кеминэ его беспокойное сердце?

Куда в самом деле собрался Кеминэ? Старый шахир молчит, потом переводит взгляд на осла и отвечает:

— Сердце давно торопит меня в могилу. Да вот осла полюбился клевер и ячмень хивинских базаров. Придется ехать в Хиву.

Путь до колодца Даудыр не ближний, но молла Непес был шахир и любил веселого шахира Кеминэ.

¹ Кары-Оглан — один из прославленных бахши XIX столетия.

Он услышал, что Кеминэ помянул про могилу, и уже сердце его полно печали. Он сразу забыл про Шукур-Арыка и про свадебный той; он берет Кеминэ за руку и ведет его к тополю, который скривился над колодцем.

— Кары-Оглан, — говорит он протяжным голосом, — достань из мешка трубку и зажги огонь. Я бы с удовольствием угостил великого шахира сушеным урюком и изюмом, какие везу в подарок Шукур-Арыку, но ораза еще не кончилась, а солнце высоко. Закон свят. Расстели нам в тени тополя ковер и расседлай коня, пока мы станем беседовать с моим старшим братом Кеминэ.

Потом он опустил на ковер, протянул Кеминэ трубку и сказал:

— Ты прав, Кеминэ. Каждый удар сердца приближает нас к могиле. О, как ты мудр и как ты прав, Кеминэ!

3

Молла Непес складывал песни о любви и каждую минуту думал о смерти. Он был настоящий номад-кочевник, сын сухого зноя и бесплодных песков, и направлялся вместе с Кары-Огланом в далекий аул, к колодцу Даудыр. А какой кочевник, сядя в седло, не думает о смерти! Вот он сел на коня и едет тропинкой, на которой белеют кости верблюда и голова павшей лошади. «Вот так и мой конь, — думает всадник, — упадет на песок, и шакалы обнажат его белые кости». Он сидит в седле целый день, а потом солнце уходит, и по пескам ползет темнота. Всадник думает: «Вот так зайдет и мое сердце, и на смену жизни придет мрак могилы».

Молла Непес тянул чилимный дым и рассматривал Кеминэ. Да, он сильно постарел, этот неугомонный слуга своего сердца. Борода его поредела и щеки высохли. Он совсем и на текинца стал не похож: каракалпак или киргиз. Впрочем, про пожилого человека кто скажет — текинец он или каракалпак. Текинец только в молодости текинец, и киргиз только в моло-

дости киргиз. Приходит старость — и в могилу опускают просто старого человека, у которого борода бела и щеки сухие, как бумага.

Молла Непес тянет чилим и думает о старости, о любви, которая приходит и уходит, как ветер, и о смерти.

Кары-Оглан расседлал лошадь и думает о том, что вот теперь Непес будет говорить о смерти, потом станет плакать и читать стихи. А ехать далеко. Когда они доберутся до колодца Даудыр, прославленный бахши Ораз-Мати уже споет свою песню, и ему, а не Кары-Оглану достанется аял-гаш — серебряная пленка на лошадь, украшенная монетами и бирюзой, какую получает победитель на состязании певцов.

Кары-Оглан думает правильно.

Сперва Непес молча тянет чилим, потом на глаза его выступают слезы, вот уже он закрыл лицо руками и тихим голосом читает стихи о смерти:

Горит в огне мое больное тело,
Родной отец заплачет надо мной.
От слов печали вся душа истлела,
Любой мудрец заплачет надо мной.

Но как ни плачь, нет и не будет толку;
Смерть подползает к миру втихомолку,
Быть кошкой льву и стать собакой волку...
Лесной певец заплачет надо мной.

Сам для себя я стал причиной горя,
Мне чуждо все, душа — как бездна моря,
Мой плачет друг, моим рыдањям вторя, —
Крутой свинец заплачет надо мной...

Кеминэ был рад беседе с моллой Непесом, чилимному дыму и отдыху в тени кривого тополя. Он был рад холодной воде из колодца и стихам Махтум-Кули. Он был рад всему, что случалось с ним на этой доброй земле. Только не рад он был боли, что сильнее и сильнее разливалась в его сердце, и не рад был мыслям о смерти. Поэтому, как только Непес умолк, он сказал с веселой улыбкой:

— Это очень хорошее стихотворение. Махтум-

Кули — великий шахир и знал все. Удивительно — откуда он знал все про всякого человека? Ты помнишь, как в другой песне он посмеялся надо мной?

Что горестной любви бывает хуже?
Она терзает сердце нам, как стужа.
Жены гулящей иль грубияна мужа,
Конечно, верная собака лучше.

И, видя, что молла Непес попрежнему с печалью качает головой, Кеминэ повторил нараспев:

Жены гулящей иль грубияна мужа,
Конечно, верная собака лучше.

— Впрочем, нет, это не про меня, — сказал он, засмеявшись. — Никогда я не любил собак. Великого шахира обманул кто-то, как обманули тебя, сказав, будто я умер. Вот если бы он сказал, что старый осел лучше гулящей жены, это было бы про меня.

Молла Непес не хотел и не любил смеяться. Недаром песни его заставляли плакать всех.

— Верно, верно, — говорит он тихим голосом, — страсть терзает наше сердце, как зимняя стужа терзает тело. Мудрый знает, что если нас посетила новая любовь — это только новая печаль посетила наше сердце.

И молла Непес опять закрывает лицо ладонями и снова читает стихи великого Махтум-Кули:

О берег бьет любви большое море.
Вновь надо эту ширь переплыть.
Я сел в челнок, он тонет, горе, горе!
Мне, как пловцу отважному, нырять придется.

— Мир — зло, — говорит Непес дальше, — и любовь, самое сладкое, что есть на земле, — тоже зло. Мы едим хлеб и пьем воду и мечтаем о шелковом халате, а потом приходит смерть, и ни вода, ни хлеб, ни шелковый халат нас не спасают от могилы. У кого в груди сердце мудреца и шахира, тот не может забыть о смерти, и на глазах его всегда слезы. Тому учит нас Махтум-Кули, и о том же пели его лучшие ученики — и Шабеиде, и Зелили, и Сеиди. . . Нет, нет,

Кеминэ, не перебивай меня. Разве ты не слышал, о чем поют бахши на веселой свадьбе? О страданиях любви, которая хуже смерти.

И молла Непес опять обращается к песням великого геклена.

— Ты разве забыл песню, прослушав которую даже весельчак Химет залился слезами?

Бред сердца горяч, горяч.
Вкруг чресел — кумач, кумач.
Наследует плачу плач.
А счастье мечта — и все.

Гвоздиками рдеем мы.
Песками желтеем мы,
Злою седеем мы,
Меняем цвета — и все.

К чему о земном жалеть?
Ты связанный будешь тлеть.
Прочна могильная сеть,
Прочна и часта — и все.

— Плачут все. Плачет хан в своем дворце, плачет дайханин в рваной кибитке. Плачет шахир в своих песнях; заливается слезами путник, на которого напал колтоман, и плачет разбойник, который убивает свою жертву.

Сердце сжала тоска, слезы каплют из глаз,
Это сердце, как воск, растопилось и каплет слезами.
Весь трясусь я от слез, рукавом утирая глаза,
Это сердце мое растопилось и каплет слезами.

Я иду на базар — шепчут все: «Вот поэт».
В лес иду — восхищенно молчат соловьи.
А подступит зима — и земля, не потоками вод
Дождевых, — зарыдав о весне, обольется слезами.

Старец хан и бедняк чопан. Кто ж из них бедняк,
Коли юн чопан? Впрочем, юность кратка.
Горы вот... Пролетят века — и на месте их пыль.
Всепоглощающий плач мне глаза застывает слезами...

Говоря так, молла Непес сам заливался слезами и вздрагивал всем телом, как вздрагивает ребенок, которому приснился страшный сон. Слезы рекой лились

на его халат, и, глядя на него, Кары-Оглан тоже перестал думать об украшении для лошади, он сжал губы и собрался зареветь.

Один Кеминэ не проронил ни слезинки. Он переждал, когда затихнет боль в груди, и сказал:

— Остановись, Нефес. Каждый туркмен знает, что когда ты открываешь рот, слезы сами бегут из глаз и слушатель сидит высохший, как сухая дыня. А куда мне сохнуть дальше? Остановись, хотя бы потому, что, глядя на нас, готов зареветь и мой осел, и тогда все твои слова будут напрасны. Он не замолчит, если ты даже начнешь читать самого Саади.

Молла Непес наконец замолчал и сидел, закрыв лицо ладонями. Кары-Оглан перестал плакать еще при первых словах Кеминэ. Он уже не раз слышал о веселом шахире и теперь с удивлением и радостью рассматривал его жидкую бородку и рванный халат.

Когда Кеминэ помянул про осла, Кары-Оглан залился смехом, потом взглянул на Непеса, застыдился и спрятался за ствол кривого тополя.

Кеминэ тем временем говорил:

— Послушать тебя, так и впрямь поверишь, что шахиры прошлых времен и умывались слезами, и пили их, как хивинские купцы пьют чай. Смотри, как бы твой чернобровый жеребенок не сказал тебе: «К чему нам ехать на свадебный той и добиваться награды за песни? Вырой могилу и засыпь меня песком, пока я еще не стал таким умным, как ты». Ты читаешь стихи, Нефес, как один бедный казах продавал коня. Конь у него был хороший, редкой масти: один бок черный, другой — рыжий, а казах был бедный и хотел продать коня. Вот слышит он, что бай ищет черного коня. Казах накинуд на коня халат и показывает баю черный бок: «Купи, бай, черного коня». Бай видит: хороший конь, можно купить. «Только сними халат, говорит, я хочу его и с другого бока посмотреть». А казаху как показать другой бок, бай сразу увидит, что конь пестрый. Вот он и говорит: «Ой, бай, нельзя халата снимать. Это такой нежный конь, как девушка; я с него халат сниму, он простудится и умрет. Очень хорошая черная лошадь». Тогда

бай махнул рукой и пошел дальше. «Езди, пожалуйста, сам на своем коне, — сказал он, — мне с лошастью не в кибитке спать, мне нужен конь, чтоб он меня по степи во всякую погоду носил». Так и остался казах ни с чем. Боюсь, Нефес, что и с тобой случится так же. У жизни есть черные стороны, есть и светлые, и шахиры всегда знают это. Ты смотришь на одни черные, а ведь жизнь разная. Она, как тигр в полосах, И любимый ученик Махтум-Кули Зелили об этом знал не хуже меня...

И Кеминэ прочел громко, чтоб слышал не только молла Непес, но и Кары-Оглан, который все еще стоял, спрятавшись за деревом:

О Зелили, поверь, нет хуже смерти зла.
Лишь униженья боль сравниться б с ней могла.
Но как бы нам тот свет ни прославлял мулла,
Пусть этот мир нам предоставит лучше.

— Ты нам хотел продать Махтум-Кули и Зелили, как черную лошадь, а другой-то бок у них светлый.

И так как молла Непес все не отнимал ладоней от лица, Кеминэ продолжал:

— Зелили, как и Махтум-Кули, часто писал печальные стихи, но ведь его два раза уводили в плен. Он самую лучшую песню сложил, когда его на веревке, как осла, гнали в Хиву. Ты помнишь, что он писал в этой песне, какую оставил как память своему другу Сеиди?

Любовью удобренный мой огород,
Мне долго был радостью каждый твой плод.
На север — в Хиву меня враг поведет.
Сегодня тебе говорю я: прощай!

К тебе убегал я от зноя, мой сад,
Вдыхал я душистых цветов аромат.
Любил Зелили твой зеленый наряд.
От тени твоей ухожу я, прощай.

Мой дом, ты открыт был всегда для гостей.
Ты слышал немало веселых вестей.
Уводят меня из-под кровли моей.
Из двери открытой уйду я, прощай.

Кеминэ читал, а молла Непес вдруг опустил ладони, слезы на глазах его высохли, и настоящее счастье засветилось на его лице.

— Читай, читай, — сказал он тихо. — Если жизнь сон, а любовь обман, то красивые стихи — всегда и радость, и настоящая жизнь. Как там у него дальше о верблюдах и овцах?

Вы, овцы, не скоро на вас я взгляну.
Верблюд, ты привез мне когда-то жену.
Прощайте, любимые, друг ваш в плену.
Вы, травы, ты, поле, в плену я, прощай.

И, забыв, что старших перебивать неприлично, молла Непес читает:

Ты, неба высокого синий шатер.
Прощай, мое небо. Мой кончен простор.
Меж скал увидало ты черный посор.
Сегодня всему говорю я: прощай!

— Вот видишь, вот видишь, — говорит Непес, торжествуя. — Зелили сказал всему, всему «прощай».

И он трогает Кеминэ за рукав его рваной, пыльной шубы.

Но Кеминэ как будто сразу забыл, что перед ним сидит молла Непес; он обернулся к Кары-Оглану, поманил его пальцем и произнес наставительно и строго:

— А лошадь, мой маленький жеребенок, вовсе не черная. Простившись со своей кибиткой, взглянув в последний раз на веселое небо родины, поэт, которого враги гнали в рабство, думал о будущем:

Садовников новых я вижу вдали.
Ишаны и ханы исчезнут с земли.
И вспомнит свободный народ Зелили,
И скажет он рабству, ликуя: «Прощай!»

Сказав так, Кеминэ поднялся и пошел поить своего осла. Он, казалось, забыл и о мальчике, как за минуту до того забыл о Непесе.

Молла Непес продолжал сидеть молча. Он тянул чилим и с печалью смотрел на небо, которое делалось

зеленым и дышало холодом. Ничего не говорил и Кары-Оглан. Да ему и неприлично вмешиваться в беседу старших. Он только крепче обхватил пальцами шейку дутары и сжал ее так, словно это была не дутара, а горло врага, обидевшего бедного поэта, и отошел к лошади.

4

Беседа поэтов всегда идет так. Они читают стихи и проливают слезы и не думают, куда им ехать и какие у них дела. А потом одному из них залетает в голову мысль со стороны, он утирает слезы, откидывает в сторону стихи, как перед тем откинул заботу, и хватается за эту постороннюю мысль.

Молла Непес тянул чилим и по временам взглядывал на Кеминэ. Нищий шахир зачерпнул воды и теперь с жадностью пил, точно в грудь его запал огонек и жег внутренности. Щеки его вытянулись, и было видно, какой он худой и бледный. «Кожа на лице его шуршит, как старая бумага», — подумал молла Непес. И вот он уже не хочет вспоминать ни о смерти, ни о муках любви. Он думает о бумаге, на которой великие шахиры записывали свои песни, и о том, какое нужно иметь богатство, чтоб записать на бумаге всю повесть о Зохре и Тахире.

— Зелили был великий поэт, — говорит он спокойным голосом, — хотя и сделал ошибку, что поверил, будто наступит время, когда исчезнут ишаны и ханы. Что толку мечтать о том, чего не может случиться! Зачем я буду думать: вот на песках не останется ни одной змеи и ни одного скорпиона? Я лучше куплю себе новую кошму и буду спать спокойно: скорпион не полезет на кошму. Зелили со всеми ссорился, его и продали в Хиву, как раба. Шахир не должен затевать ссоры с ханами. Его песни — это его кошма. Но все-таки Зелили был счастливее нас. Он умер, но книги его остались, и через сотню лет текинцы будут вспоминать его, как вспоминают Махтум-Кули. А где наши книги и кто вспомнит о нас? Да и что нас вспоминать? — вдруг воскликнул он с горькой горячностью. —

Все песни, какие может выдумать шахир, уже выдумали Махтум-Кули и Зелили. Мы умрем, а они вечно будут живыми. . .

Опять молла Непес заговорил о смерти. Сколько ни толкуй, он все будет клясться, что лошадь черная.

Кеминэ не хотел думать о смерти. Он воскликнул живо:

— Ну, если по кшигам судить, кто жив, кто умер, — Махтум-Кули мертвее нас. Хивинские и бухарские владыки велят жечь каждую бумажку, если на ней окажутся записаны песни Махтум-Кули. Слова великого шахира приводят их в ярость, точно красная тряпка бодливого быка. Удивительное дело, Непес, сколько бодучих быков стало в мире! Большущее стадо. А бедняки по своим дырявым шатрам круглый год довольствуются похлебкой без мяса. Кто насытит их, Непес?

Непес и эти слова Кеминэ принял как шутку шахира.

— Меня всегда радовало, — говорил он, — что аллах наградил тебя сердцем, способным на веселье. Но я не забыл, что сказал Махтум-Кули в той песне Химету, которую мы вспоминали только что. Он сказал:

И когда я смеюсь, шуткой радуя вас,
Знайте, смех мой во мне в этот час истекает слезами.

Конечно, и ты, смеясь, печален, Кеминэ. И не то печально, что невежды жгут книги Махтум-Кули. Песню не сожжешь. Печально, что все мудрые и красивые слова уже сказаны и песни пропеты. Великие поэты прошлого собрали всю жатву с нивы поэзии. Поэтому они и не умрут никогда. Как живые, они в своих песнях беседуют с нами. А умрем мы? Что останется после нас?

Тут уж и Кеминэ бросил шутить.

— Да бывал ли ты на пиве? — вскричал он с настоящей страстью. — Я не один раз видел, как растет кукуруза и джугара. Даже видел, как растет пшеница на поле в таком обилии — этому трудно поверить, — как растет камыш на берегу реки. Я видел, как узбеки в Хиве собирают урожай. Сперва на пиву выходит хозяин и косит колосья. Он их связывает в

снопы и увозит к дому. Но не каждое зерно сохраняется в колосе; иное, тяжелое, падает наземь и остается на пашне. Вслед за жнецом на поле выходит бедный человек и собирает это крупное зерно — остаток. Когда начнут веять, у первого жнеца много всякого сора летит по ветру, а у бедняка, собравшего остаток, зерно лежит крупное и чистое. Ты сказал, шахиры прошлого собрали в своих песнях всю жатву с нивы поэзии. Мы вышли позже их. Так что же! Еще много на нашу долю осталось зерен, выпавших из колосьев. Крупное и чистое зерно долго может храниться в житницах памяти. А придет человек, который знает грамоту, — если у него будут деньги, чтобы купить бумагу, он запишет наши песни, вот и получится книга...

Молла Непес был грустный и строгий человек и боялся смерти, как боялся ханов, ишанов и беков. Но он был шахир и всегда радовался, если другой шахир так повернул слово, что сказавший его словно и не сказал ничего или сказал наоборот. К тому же он давно не видал Кеминэ и отвык от его хитрых оборотов речи. Когда Кеминэ шутил, он думал о смерти и утирал слезы, а стоило Кеминэ заговорить всерьез — он стал улыбаться.

— Прости меня, — сказал он, — я забыл, с кем беседую. Ты-то можешь быть спокоен, если даже и умрешь. Твои шутки всегда будут жить. А мои песни улетят по ветру времени, как улетают листья с осенним ветром.

Но Кеминэ на этот раз говорил серьезно.

— Народ наш темный, — говорил Кеминэ, — сегодня что ему книга, когда каждая буква для него как загадка, — поди разбери ее! А если бы даже он и умел читать? За книгу надо платить, как за жену, а ведь и жену не каждый может купить. Где бедняку взять верблюдов и баранов? Кто станет читать наши книги? А послушает песню каждый.

Беседа поэтов бежала, как и подобает беседе поэтов. От стихов они перешли к смерти, от смерти к стихам и книгам. Теперь они говорят о темном народе, об обманщиках муллах, о трусливом хане, о

жестоком кази-раисе и о том далеком времени, которое наступит когда-нибудь. Тогда каждый аульный дайханин будет знать грамоту и каждый шахир будет иметь бумаги, сколько надо, чтобы записать все песни, какие родятся в его сердце.

5

Солнце тем временем опустилось в пески. Со всех сторон поползла ночь, холодная и грузная. А потом поднялась луна, и ночь стала холодная, но легкая. Кары-Оглан устал слушать старших и бегал по степи; он гонялся за ящерицами и отдавливал им хвосты или, встретив змею, хватал ее за шею и не отпускал до тех пор, пока она не переставала шипеть и обвисала на руке, как ремень. Или он схватывал горсть песку и пускал по ветру, и песок летел, растянувшись полосой, как зеленый дым. Кары-Оглан отбежал далеко и увидел всадника, который скакал на взмыленном коне по тропинке, по какой Кеминэ проехал утром. Всадник скакал во всю прыть и то и дело оглядывался по сторонам, как будто он боялся кого-то или кого-то искал. На голове его была высокая папаха, через седло перекинут тюйдук, а руки его казались молодыми ветками абрикоса, освещенного луной. Халли не видела ни колодца, ни шахиров, сидевших в тени кривого тополя. Она гнала во всю прыть самого лучшего из коней Еген-Ораза в надежде догнать Кеминэ, но Кары-Оглан успел рассмотреть ее безусое лицо и тюйдук.

— Вот текинец проскакал, — сказал Кары-Оглан, вернувшись к колодцу, — в руках у него тюйдук. Это, наверно, бахши. Может быть, той у Шукур-Арыка уже кончился и бахши возвращаются обратно.

Беседа шахиров бежала, как и подобает бежать беседе шахиров, которые встретились у колодца после долгой разлуки, — от грамоты они перешли к персидским аскерам, от Саади к шахиру урсов Пушкин-баю, песни которого пел в Хиве один заезжий нагай. Его песни не хуже песен Махтум-Кули, уверял молла Непес, а Кеминэ сомневался. На слова Кары-Оглана они не обратили внимания, и мальчик повторил еще раз:

— Проскакал молодой текинец в высокой папахе, и в руках у него тюйдук. Только на лошади его не было серебряного украшения. Верно, победителем остался Ораз-Мети.

Он снова хотел бежать за ящерицами, когда молла Непес оборвал беседу и внезапно поднялся.

— Седлай коня, Кары-Оглан! — закричал он голосом, какого нельзя было ждать от поэта, чье имя — дыхание.

Когда молла Непес плакал, он плакал, как женщина, а когда закричал, то кричал, как кричит каждый текинец, решительно и грозно.

— Где ты, Кары-Оглан? — кричал молла Непес. — Что ты там мешкаешь? Солнце село. Иль ты хочешь, чтоб Ораз-Мети остался победителем? Поворачивайся! Поворачивайся! Неужели я сам должен седлать коня?

Кары-Оглан быстро взгромоздил на спину лошади седло, приладил курджум, подождал, когда усядется молла Непес, проворно вскарабкался сам на круп коня и обеими руками ухватился за халат Непеса. Он ударил коня плеткой, когда молла Непес снова обернулся к Кеминэ.

— Я забыл предупредить тебя, Кеминэ. Смотри, как бы тебе не остаться в Хиве навек. Говорят, у муллы Пира был старик сопн. На муллу напали разбойники, а сопн кинул муллу и ускакал неизвестно куда. Пир пожаловался кази-раису, и приказом объявлено: если сопн объявится в Хиве, каждый стражник должен схватить его и бросить в зиндан. Ну, а там с ним церемониться не станут... И объявлено, что без разрешения кази-раиса ни один туркмен не может выехать за городские ворота, так как сопн был тоже туркмен, как я или ты. Может быть, ты все-таки предпочтешь поехать с нами на той, чем смотреть как ханские собаки будут ловить старого текинца...

Кеминэ лишь улыбнулся и пошел к своему ослу.

— Нет, нет, дорогой Нефес, — сказал он, — мне прежде надо в Хиву. Там я кинул несколько зерен, и пришло время собирать жатву. А на обратном пути,

если ты хочешь, я загляну и к Шукур-Арыку послушать твоего жеребенка.

И, сказав так, Кеминэ взгромоздился на осла и погнал его в сторону Хивы, откуда то и дело налетал предвестник зимы — холодный ночной ветер.

6

И что тянуло Кеминэ в Хиву?

Ехать бы и ему к Шукур-Арыку на той, петь песни и рассказывать сказки. Так нет, старый упрямец гнал и гнал своего осла к Хиве и даже в Ташауз не заглянул; напился воды из арыка и поехал прямо к стенам древнего города, над которыми высились минареты, а ветки тутовника и карагачей тянулись к голубому небу, как зеленый дым.

Ну, тогда пусть и пеняет на себя, если нарвется на стражников кази-раиса.

Кеминэ, не мешкая у ворот, прямо отправился на базар. Сердце его болело все сильнее, и холодный пот струился по вискам. Совсем он стал больной, Кеминэ. А болезнь надо лечить едой; поэтому, не мешкая у ворот, шахир проехал прямо к базару.

Только Кеминэ никогда не везло в жизни. Он оставил оразу в ауле, а голодная ораза поджидала его и в Хиве. Лавки были заперты, ашханы¹ пусты. В дни оразы правоверный до вечера обходится без пищи. Голодные хивинцы в ожидании вечерней молитвы толкались возле водоемов, закидывали на плечи халаты и с тоской смотрели в зеленую воду. В воде плавало коричневое небо и тутовник, который рос корнями кверху. Над деревьями летали аисты, а солнце недвижимо висело на небе.

Чертова ораза!

Но для Кеминэ ораза не помеха. Он привязал осла к дереву, разостлал кошму, набрал горсть лиловых ягод тутовника, достал из мешка сухую лепешку и устроился не хуже, чем в харчевне. Ягоды он давил языком и за-

¹ А ш х а н а — харчевня.

едал лепешкой. Боль в сердце понемногу затихла, и теперь пусть солнце еще хоть двое суток не слезает с неба.

А тутовник такая ягода — ее чем больше ешь, тем больше хочешь пить. Кеминэ стала томить жажда, он сложил ладонь горсткой и наклонился к водоему.

Нет, из водоема пить не станешь. Туда и лист с дерева валится и пыль летит. Вон богатый узбек подошел к водоему, пополоскал руки, набрал воды в рот и выплюнул обратно. Водонос с бурдюком набирает воду, а ноги его в воде. Конечно, городскому человеку и это вода. А Кеминэ родился в песках, в степи. Там в колодцах вода хоть и отдает солью, а ног в ней никто мыть не станет.

Кеминэ махнул рукой и направился к чайхане. Солнце понемногу клонилось за дувалы. Самоварчи уже наполняли водой золотые самовары, а один фарс в ожидании окончания поста уже и уголья разжег, из самовара валил пар.

Кеминэ побренчал монетами в кушаке и подошел к фарсу.

— Друг мой, — сказал он ласково, — я человек бедный и немало напостился за свою жизнь. Тутовник сладок, а лепешка моя суха. Налей мне чаю и принеси хлеба помягче. Солнцу осталось светить недолго, нас не видят, а у меня три тениги. Возьми себе одну.

Чайханщик был даже не фарс. Он был армянин. Его захватили в плен двадцать лет назад, он носил хивинский халат и красил бороду по иранскому обычаю, но закон Мухаммеда был для него не родной закон. Он взял тенигу, достал лепешек и свежую дыню, принес чайник, как вдруг, посмотрев по сторонам, закричал визгливо и громко:

— Поди прочь, гяур, капыр¹! Нет у меня для тебя ни чаю, ни лепешек. Или ты выжил из ума, старый ишак, и не помнишь, что стоит ораза? Солнце еще высоко. Ступай, ступай!

Крича так, он выхватил из рук Кеминэ чайник и спрятал под платок свежую лепешку.

¹ Гяур, капыр — неверный, еретик.

Потом наклонился к Кеминэ и зашептал:

— Я вижу, ты чужой человек и не знаешь наших порядков. Двадцать лет я живу в Хиве и всего не посмотрелся. Черт опять несет кази-раиса. Он всегда подкрадывается, как тигр. Меня он будет бить палками, а тебя схватят и бросят в зиндан, если я до молитвы дам тебе чаю.

Кеминэ повернул голову и увидел кази-раиса, который в халате, расшитом золотом, и в зеленой чалме медленно шел между лавками. Два стражника с подведенными бровями следовали за ним. В руках их были толстые палки. Кази шел, ни на кого не глядя, но каждый хивинец прижимал ладони к животу, низко наклонял голову и шептал неслышно: «Алла, пронеси этого тигра мимо». Кази-раис двигался неспешно, как движется аллах на небе среди облаков и святых пророков с их гуриями. Он смотрел поверх крыш и заборов, словно и не замечал ничего на земле. Но вот один иомуд замедлил с поклоном. Кази тотчас же повел ладонью; стражники, быстрые, как буря, повалили иомуда в пыль, и пока один держал его за колени, другой пять раз ударил провинившегося по пяткам. Потом кази опять поднял ладонь; стражники привели свои халаты в порядок и последовали за господином.

— Этот старый распутник — кази-раис! — продолжал шептать армянин, когда стражники подняли палки на каракалпака, чей осел невзначай задел великого кази хвостом. — Тот месяц текинский сердар Клыч привез из аламана двух фарсидских женщин. У одной младенец плакал у груди, и никто не давал за нее и двух баранов. Кази купил ее, а ребенка оставил Клычу. «Пусть он сосет твою бороду, — сказал кази, — если не хочет подышать». Сердце нашего кази не знает жалости ни к старому, ни к молодому.

Кеминэ не сказал ни слова. Но боль в его сердце внезапно вспыхнула с такой силой, будто слова армянина были острыми иглами и каждая впивалась в сердце шахира.

Провинившийся каракалпак уже не кричал. Он покорно лежал на спине и при каждом ударе палки

только облизывал языком губы, белые, как чалма раиса.

Армянин оказался очень разговорчивым человеком.

— Как ты думаешь, добрый человек, зачем ему фарсидская женщина? — шептал он еле слышно. — Ты скажешь — чтоб она ласкала его? Как бы не так, в его постели уже давно не валялась ни одна женщина. Пленница своим молоком будет откармливать щенка любимой собаки кази-раиса, которую загрыз волк. Такая красивая женщина! Я думаю, она умрет. Она не переживет разлуки с сыном. Если бы ты видел как она рыдала тот раз, когда кази-раис оторвал от ее груди ребенка. Она скорее перегрызет горло щенку, чем приложит его вместо сына к своей груди. А постель кази-раису стелют стражники. Он ведь только и любит, что собак да стражников. Люди ему ничто. А стражники у него лютее любого пса. Их так и зовет весь народ: собаки кази-раиса...

Пока он говорил так, каракалпак провел последний раз языком по губам и поднялся, одергивая халат. Армянин, заметив, что кази-раис направляется в их сторону, опять закричал визгливо и громко:

— В моей чайхане ни один мусульманин не получит ни чаю, ни дыни, пока мои уши не услышат крика азанджи¹. Чего ты расселся, бродяга? Забирай свой шурум-бурум и ступай.

А Кеминэ словно оглох. Он разостлал платок и положил на него лепешку и горсть ягод, которые все еще были зажаты в его ладони. Потом взял одну ягоду и размял ее языком, отломил кусок лепешки и тоже запихал в рот, точно кази-раис был далеко и не видел ничего. А кази-раис был близко и видел все. Он даже не стал дожидаться стражников, которые держали за локти теперь какого-то узбека. Кази остановился перед нищим поэтом и уставился на него, молчаливый, как свинец.

Кеминэ его взгляд не испортил вкуса. Он сжевал один кусок лепешки, потом отломил второй.

Лицо кази-раиса налилось гневом.

¹ Азанджи — зовущий на молитву.

— Нечестивец! — закричал он так громко, что даже вода в водоеме пошла кругами, словно в нее бросили комок грязи.

Кеминэ справился со вторым куском и принялся за третий.

— Нечестивец! — повторил тогда кази-раис, и от удивления голос его упал до шепота. — Или ты не мусульманин? Ты урс или джугут? Но у джугута должна быть веревка на поясице, а урс давно бы сгнил в зиндане, если бы осмелился сунуться в Хиву. Ты текэ. А разве текэ не мусульмане?

Кроме собак и стражников, кази-раис еще любил свой голос. Когда он начинал говорить, остановить его было нельзя. Если он не сразу поднял ладони и сказал хоть одно слово, стражники опускали палки и, скучая, глазели по сторонам. Целую дыню можно было съесть, пока кази насладится своим голосом и потребуется палка.

— Текэ — мусульмане, — продолжал кази-раис. — Хотя они и собаки, родившиеся в песках. Но и собака делает то, что велит хозяин. Хозяин наш аллах и его пророк Мухаммед. Пророк во время оразы велит держать пост до темноты. Все мы держим пост. Я держу, и куш-беги¹ держит, и сам хан Мадамин — да будет над его головой милость аллаха — тоже держит пост, а какой-то бродячий попрошайка не хочет держать.

Кеминэ покончил с лепешкой и во все уши слушал кази-раиса. Стражники тоже окончили расправу с узбеком и теперь стояли за спиной господина.

Наконец кази умолк. Кеминэ взглянул на стражников и всплеснул руками.

— Бог ты мой! — вскричал он. — Да разве я могу равняться с ханами и беками? Вы целые царства и народы в своих руках держите, не то что пост. А я бедный человек, меня самого пост ухватил и не отпускает. Как мне его сдержать?

Такой ответ озадачил кази-раиса. Он махнул рукой стражникам, чтоб те опустили палки, и сказал:

— Но ведь ты мусульманин?

¹ Куш-беги — главный министр Бухарского ханства.

— Мусульманин, — наклонил голову Кеминэ.

— Ну, а раз мусульманин, ты должен знать, какие правила установил пророк для верующих.

Кази говорил о правилах, что должен выполнять человек, мечтающий попасть в рай. Правил этих пять:

молиться в положенные часы — это раз;

соблюдать оразу — это два;

отдавать пошлины и налоги — это три и четыре;

съездить в Мекку на поклон к гробу пророка — пять.

— Как не знать пяти палок хозяина, — ответил Кеминэ с величайшей готовностью. — Правил этих пять, и кто отбавит или прибавит хоть одно, того надо бить по пяткам или посадить в зиндан.

— Конечно, конечно, — улыбнулся раис, обрадованный таким благочестием и такой горячностью этого нищего бродяги, — богохульникам место в зиндане. Ну-ка, повтори эти правила.

— У всякого мусульманина их пять, — сказал Кеминэ, — а я вижу, что в Хиве их не пять, а шесть.

— Что ты врешь! — закричал кази-раис. — Как шесть?

— Да так, все говорят. — И Кеминэ стал загибать один за другим пальцы на правой ладони. — Молиться, — сказал он и загнул мизинец, — поститься, — и загнул четвертый палец, — отдавать зоххот и ушур¹, — загнул два пальца, — в Мекку ездить, — и он сжал в кулак всю ладонь.

— Вот видишь, дуралей, — вскричал кази-раис, — больше и пальцев нет! — И хотел поднять ладонь.

— А у хивинского мусульманина, видать, есть и шестое правило — это любить своих собак, как правоверный любит семью.

Вот так сказал Кеминэ! Да ему сейчас голову отрубят напрочь. Любить своих псов, как родную семью. Это, выходит, он метил в самого кази-раиса. И как

¹ Зоххот и ушур — налоги, какие обязан вносить каждый мусульманин.

сказал — во весь голос. А народу кругом собралось — целая орда. Хивинцы обступили Кеминэ и в ужасе всплескивали руками.

— Ах, ты! Да что же это такое! Вот так сказал нищий бродяга!

А те, кто стояли поодаль, кивая на стражников, стали шептать что-то один другому и при этом хохотали.

Кази-раис так оторопел, что даже и ладонь забыл поднять. Он вскинул глаза к небу, как бы призывая на голову нечестивца гнев аллаха, и вдруг заметил, что солнце уже село. Камни минаретов еще были розовыми, но снизу поползла ночная тень, предвещающая скорую ночь, — и кази-раис испугался. В ночь оразы он сам должен был, исполняя желание хана, читать молитвы в ханской мечети, и Мадамин-хан уже небось ждет его. А он замешкался с этим проклятым бродягой.

— Ля-илля-иль-алла, Мухамед россу иль алла! — раздалось с минарета.

Кази-раис сделал вид, что слова старика его не касаются, и сказал небрежно:

— Я вижу, ты очень веселый человек. Только мне недосуг болтать и шутить. Плати одну теньгу штрафа и жри сколько хочешь.

У Кеминэ было три теньги, когда он покинул Еген-Ораза. Одну монету он отдал армянину за дыни и лепешку — осталось две. Он охотно достал их и хотел кинуть кази-раису. Но в это время послышался крик:

— Берегись, берегись!

Толпа раздвинулась, и на базаре показался верхом на осле, весь в шишках и синяках, перевязанный шелковым платком мулла Пир. Он тоже спешил в мечеть. За ним, путаясь в длинном халате, шагала Курбан. Да и не одна Курбан. И Мухаммед-Нияз тут же, и Шали, и Беден-Арслан — все сопки муллы спешили что было ног за своим наставником. Мулла Пир не видел Кеминэ, но Кеминэ его узнал сразу. Он кинул стражникам монету, повязал свой халат кушаком и стал протискиваться к Курбану, который смотрел на Кеминэ

глазами, какими всякий человек смотрит на покойника, если вдруг покойник оставил могилу и идет навстречу, протягивая руку и трясая бородой.

7

Это вот как случилось, что Курбан вместе с другими сопи и своим избитым муллою появились на хивинском базаре.

Кази-раис тот раз прибыл в Ташауз, едва только мулла Пир и его служба Кеминэ уехали в аул к Хал-Мураду хоронить убитого иомуда. Он пять дней подряд навещался к Пиру, и всякий раз у ворот мечети его встречал Курбан и говорил печально:

— Извини и не бей меня, великий добрый кази. Учитель не вернулся до сих пор. Может быть, на него напали разбойники. Только с ним поехал один мудрый и храбрый ученик, он не даст мулле в обиду. Не знаем, что и случилось такое. . .

А про себя Курбан думал:

«Аллах многомилостив, а почтенный сопи хитер, он чистый Кеминэ. Кто знает, что он там сделал с муллою? Может быть, он оседлал муллу, как осла, и теперь гоняет его хворостиной по степи. Дал бы бог. . .»

Кази-раис поворачивал коня и ехал в дом к мулле Сеиду. Сеид кормил кази пловом и урючными косточками, поджаренными с сахаром и солью, потом кипятил чай и ставил целую миску иншалды¹, от которой пахло розами и медом. Кази-раис пил чай и ел иншалду. А мулла Сеид, обиженный тем, что пресветлый и премогучий кази-раис пожаловал в город не к нему, а к этому ненасытному мулле Пиру, времени зря не терял. Уж чего-чего он не наговаривал на Пира: и жаден-то он, и подл, и какой он мулла, раз он туркмен! И все сопи у него туркмены, кумли, нищая деревенщина. Кази-раис слушал Сеида, обсасывая пальцы, а потом заваливался спать и наутро снова стучал в

¹ Иншалда — сладкое кушанье.

ворота к Пиру, чтобы передать ему поручение хивинских беков. И опять худой эрсаринец, высунув испуганное лицо, бормотал:

— Прости меня и не бей, добрый господин, пропал мулла. Не знаем, что и подумать.

Кази-раис ударял его палкой по спине и по шее, а по пяткам не бил ни разу.

Наконец кази-раису надоели иншалда и ворчанье Сеида, к тому же наступила ораза. Он наказал, чтоб Пир, как заявится, немедленно ехал в Хиву и оставил Ташауз.

После его отъезда прошло немало дней, прежде чем в ворота своего дома постучался Пир.

Надо было видеть, какой это был жалкий мулла!

Один глаз его не смотрел совсем; другой вспух, как у жабы. Халат был в пыли и глине, а дыр на нем светилось не меньше, чем заплат на шубе Кеминэ. Мулла стал худым и желтым, и большой живот его висел, как висит на старом осле пустой мешок из-под кукурузы.

— Что с тобой, великий мулла? — закричали сопн, радуясь такому виду своего учителя. — Или на тебя напали колтоманы? Какой ты худой и бледный!

— И где твоя лошадь?

— А почтенный сопн где же?

— Ты целый месяц пропадал; мы думали, ты умер.

Мулла молча доплелся до сопы, вылакал кувшин ослиного молока, которое имеет силу утешать боль в желудке, и проскрипел:

— Ехали мы с похорон обратно, а служба гнал стадо баранов, каким наградили меня иомуды. Иомуды чтут бога и ничего не жалеют для своего муллы. Вдруг из песков выскочили колтоманы. Их было так много, как баранов. Я дрался, как барс, и разогнал разбойников, но их курбаши успел ранить моего коня. Лошадь взбесилась, сбросила меня на землю и избивала копытами. Насилу отлежался. Но аллах многомилостив, он не дал мне умереть. Аллах проводил меня до колодца, где добрые люди вылечили вашего муллу. И аллах по-

мог мне добраться до Ташауза, охраняя от волков и разбойников. Только вот один глаз совсем перестал видеть.

И, сказав так, мулла выпил еще два кувшина ослиного молока и, не жуя, проглотил целую лепешку из чистой пшеницы.

— Учитель, — спросил тогда сопн, — а что случилось с почтенным учеником, который гнал твоих баранов?

Мулла затрясся от злости и негодования.

— Это вовсе не почтенный сопн. Это проклятый шахир Кеминэ. Он только и умел, что смеяться над добрыми людьми, а сам труслив, как шакал. Едва выскочили колтоманы, он погнал своего осла в сторону да со страху свалился на песок, и все стадо баранов пробежало по его спине. Аллах послал ему собачью смерть, какую заслужил каждый, кто смеется над святыми людьми.

Сказав так, мулла вдруг и сам поверил, что все было, как он рассказывал, и Кеминэ действительно умер. Он очень развеселился от этой мысли, велел Курбану зарезать самого жирного барана и сожрал его один, без чьей-либо помощи.

Ученики разошлись по своим кельям и говорили друг другу, качая головами:

— Ну конечно, это был Кеминэ. И борода у него как у кесе, и шуба из ста заплат, и сердце горячее. Зачем аллах сделал так, что мулла вернулся, а Кеминэ убит?

А потом наступила ночь, и мулла захрапел, как храпят сто лягушек в грязном арыке. Но только храпеть ему пришлось недолго. На улице вдруг залаяли собаки, заржал конь, слышен был торопливый стук копыт и чей-то голос, который кричал:

— Отворите, отворите!

Потом в ворота громко застучали, и тот же голос прокричал снова:

— Отворите!

Он был пронзительный и звонкий, и мулле почудилось, что это кричит Кеминэ.

Проворно вскочив, мулла залез под деревянную сопу, прикрыл зад халатом и завизжал, даваясь от страха:

— Не отворяйте, не отворяйте! Этот старый разбойник, может быть, отлежался и вернулся, чтоб убить меня. Не отворяй, Курбан!

Но Курбан уже успел отложить засов. Ворота распахнулись, и лунный свет вместе с пылью ворвался во двор. Пыль была как дым, и в луне, как в огне, перед Курбаном встал безусый красивый туркмен. В руках он сжимал тюдук. Конь его ронял на песок белую пену. Осенние звезды, как искры костра, взметнулись над головой всадника, и глаза его были такие же блестящие, как звезды.

— Где молла Кеминэ? — спросил всадник. — Мне сказали, он был учеником великого Пира.

— Кеминэ умер, — ответил Курбан, пораженный красотой туркмена. Если бы на всаднике не было папахи, он подумал бы: это женщина. — Кеминэ лежит на степи между барханами, и нет никого, кто бы отвез его тело к Токлы-яшенокам, где его сыновья прочтут над ним похоронную молитву.

Услыхав такие слова, молодой текинец стал громко плакать и рвать на себе одежды. Руки его взметнулись к груди, и было видно, какие они тонкие и белые, точно молодые ветки абрикоса весной.

Потом всадник повернул коня и поскакал в степь. Пыль скоро скрыла его от Курбана. И только осенняя звезда Ялдырак еще долго светила несчастной Халли, которая плакала, и гнала коня, и всю ночь искала тело несчастного Кеминэ, чтоб отвезти его в аул Токлы-яшеноков, где сыновья шахира прочтут над ним похоронную молитву.

Если верить молле Непесу, так гнала когда-то и несчастная Зохре своего коня, догоняя бедного любимого Тахира.

А потом опять наступил день. Мулла Пир шелковым платком перевязал выбитый глаз и отправился в Хиву, к кази-раису. Всех своих сопи он забрал с собой. Мулле, у которого много учеников, и почета в Хиве

будет больше. Да и добираться до Хивы спокойней, когда едешь не один, а кругом твоего осла, как живой частокол, бегут молодые сопи на своих длинных, быстрых ногах.

8

Кеминэ не раз бывал в Хиве и не удивлялся обилию ее мечетей, домов и лавок. Но и он едва не оглох, когда после вечерней молитвы ударили барабаны, зашвистели дудки, закричали чайханщики и содержатели съестных лавок.

Курбану он рассказал все, что приключилось с муллой по дороге из иомудского аула, и пока Курбан от радости хлопал в ладоши, Кеминэ с любопытством стал озираться вокруг.

Харчевни наполнились сразу, едва смолкли крики азанджи и молитвы мулл. Хивинцы, хватая друг друга за халаты, бежали к ашханам. Они прыгали на ковер с разбегу, ловко теряя на лету кавуши, потому что к котлу, как и к аллаху, надо подступать без верхней обуви. Из котлов с шурпой валил пар. Ашханщик пробовал пальцем рис в котле, не готов ли плов, и бежал к жаровне, на которой шипел шашлык. Продавец подкидывал на руках дыню, точно это была голова убитого неприятеля.

— Дыня-мед! Дыня-сахар, сладкая дыня!

На подносах лежали фрукты — персики с кулак погонщика верблюдов, виноград, сладкие груши, миндаль. А там уже разливали по чашкам чай и макали лепешки в иншалду, от которой пахло розами и медом. Толстый узбек взял поднос и бьет по нему пальцами. Таджик с пестрой бородой приставил к губам дудку.

— Баба-джан! Баба-джан! — закричали вдруг со всех сторон.

Тонкий мальчик выступил из-за дерева и скинул халат. Руки он вскинул над головой, алая рубашка из грубого пальвартского шелка струилась по плечам, как дождь, а под тубетейку заткнут цветок.

— Баба-джан, Баба-джан! — зачмокал толстяк и

ткнул соседа в бок. — Если пойдет кази-раис, надо мальчонку заслонить, не то как раз угодит на псарню, кобелям хвосты подмывать.

Сосед закивал головой и расставил широко руки, как будто кази-раис уже рядом и надо спасать от него маленького танцора.

— Днем на псарне, а ночами плясать заставит, как гулящую девку.

— До чего охоч до пляски мальчишек этот раис!

— Сам будет плов жрать, а мальчишка кружись, пока не свалится.

— А свалится, не пожалеет...

— Не то всяким безобразиям обучит. А доведись вырастет мальчонка, в стражники определит.

— То был Баба-джан сын честного родителя; а попадись в руки кази-раиса, станет Баба-джан суковатой палкой, да по спине отцу же родному...

Тут и другие вступили в разговор.

— Пойдет кази-раис, мы углем мальчонке лицо вымажем...

— Пусть кази подумает, что у него оспа.

— Или проказа.

И хохочут, держась за бока...

За дувалами, где был пустырь, ревел карнай, свистели дудки. Через водоем натянули канат, и полуголый киргиз, вертя в руках шест, бежал над темной водой.

Ночь оразы была в самом разгаре.

На курином базаре сбились в кучу туркмены. От хивинцев узбеков они держались особняком, но смех стоял и среди них. Посредине круга на кошме сидел пожилой иомуд и, взглядывая то на того, то на другого из слушателей, скороговоркой громко и весело вел рассказ.

— Было нас двенадцать братьев, двенадцать молодцов, — говорил он, показывая руками, какие это были молодцы двенадцать братьев-удальцов. — Обидел нас однажды кривой колтоман Палван, вырвал у младшего гнилой аркан, на котором брат хотел удавиться с тоски. Кинулись мы за колтоманом, двенадцать нас было братьем-удальцов. Мы за ним, он от

нас. Мы за ним, он от нас. Догнали наконец. Схватились в драке. Мы его, он нас. Мы его, он нас. Мы его! Свалился наконец.

— Кто? — крикнул из толпы молодой парень в персидской шапке, хотя, судя по лицу, он не был фарс.

Кеминэ сразу догадался, что это помощник рассказчика.

— Один из нас, — ответил сейчас же рассказчик и махнул рукой. — Это был из нас самый негодный брат, трус и баба, совсем хивинский торговец. — И продолжал прежней скороговоркой: — Осталось нас одиннадцать братьев, одиннадцать молодцов. Все как на подбор, один к одному, храбрецы-удальцы. Поклялись мы отомстить Палвану. Кинулись догонять. Мы за ним, он от нас. Мы за ним, он от нас. Настигли наконец. Стали биться. Мы его, он нас. Мы его, он нас. Мы его. . . Упал наконец.

— Кто? — крикнул из толпы теперь уже другой парень.

И Кеминэ догадался, что и этот другой, задающий вопросы, помощник рассказчика. Рассказчики всегда ездят группами. Один ведет рассказ, а двое или трое помогают ему шутками, вопросами, криками из толпы.

— Один из наших, — махнул рукой рассказчик. Толпа засмеялась. — Да это такой был никудышный брат, трусливей и глупей барана, — продолжал рассказчик. — Осталось нас десять братьев-удальцов. Решили мы отомстить Палвану. Мы за ним, он от нас. Мы за ним, он от нас. . .

Кеминэ хорошо знал эту сказку о двенадцати молодцах, которые все до одного оказываются трусами и бабами, не исключая рассказчика.

Кеминэ не торопился уходить. Он с тоской и болью смотрел на Курбана, который, верно, отбилсЯ от муллы Пира и других сопи и — не в силах превозмочь любопытства — глазел на рассказчика. Рот его был раскрыт, и глаза светились счастьем. Будь у него в кушаке монета, он бы, не задумываясь, бросил ее рассказчику, как это делали другие слушатели, когда рассказчик с тюбетейкой в руках стал обходить толпу.

Кеминэ смотрел на рассказчика, на слушателей, на Курбана и думал о бедности и темноте народа. Вот они собрались здесь — крестьяне и пастухи из далеких аулов и кишлаков; у каждого за плечами годы труда, нищеты и боли, а они утолили голод после постного дня и рады смеяться даже глупой шутке, только бы поверить, что счастливы и они, что и для них есть веселье и радость. Бездумный смех, как пыль, застилает им глаза. Они не видят ни беков, ни баев, ни раисов. Они смеются над собой же, а потом видят стражников кази-раиса и покорно падают наземь под их палками. А если кази-раис позарится на их смазливового сынка, самое большее, на что они решатся, это вымазать ему лицо грязью или молить аллаха, чтобы он дал им счастье, ниспослал бы на сынка оспу или проказу. . .

Давно не чувствовал Кеминэ такой боли в сердце. Ах, Кеминэ, Кеминэ! Все-то у него всегда наоборот. Когда другие плачут, он смеется. А тут мусульмане справляют оразу, а он утирает слезы и думает про то, о чем нечего и думать. Лучше бы взглянул, как китайский фокусник вынул из носа синюю птичку. Она пискнула, махнула крыльями и взлетела. Китаец раскрыл рот, и вдогонку первой вылетела вторая. Ударил себя по затылку палкой, а из палки выскочила третья. Он хлопает в ладоши, и все три птички сели ему на голову. Или вон казах привел дрессированного верблюда. Казах свистит, и верблюд пляшет, раскидывая ноги.

В ночь оразы на хивинском базаре проси чего хочешь и для тела и для души.

Когда иомуд, окончив рассказ, собрал подарки, туркмены стали расходиться, а один, проходя мимо Кеминэ, сказал:

— Це, це, це! Ему что ни скажешь, у него на все ответ. Язык у него как язык Кеминэ.

Тогда Кеминэ улыбнулся, и боль в его сердце понемногу прошла. Курбан пустился догонять муллу Пира, а Кеминэ вернулся в чайхану, где под дудку таджика плясал тоненький чернобровый мальчик, одетый в алую рубашку, и толстый купец манил его пальцем и сулил ему пестрый кушак и тюбетейку, расшитую золотом.

Баба-джан ходил по кругу медленно, и ноги его казались недвижимыми. Только пальцы рук дрожали, как дрожит кисть винограда, если подует ветер. Но вот он вскинул голову, увидел над ветками джиды огромные звезды — совсем такие, что светили ночами и в его родном кишлаке над Зеравшаном; светили и в ту ночь, когда отца забрали стражники эмира, а мать, рыдая, крикнула: «Беги, Баба-джан, к дяде в Хиву и слушайся его, как отца, он выведет тебя в люди», — и вдруг тряхнул шеей. Ноги его словно перестали касаться ковра, и пальцы рук перестали дрожать.

Это был танец, которому Баба-джан научился от заезжего индуса, когда еще жил в родном кишлаке возле Самарканда. Веселый индус умел говорить на всех языках и умел танцевать, как никто на свете. Один раз он долго смотрел на Баба-джана, который перенял его танец, и сказал: «Судьба произвела тебя на свет, чтобы ты был великим артистом. Но судьба не позаботилась о том, чтобы всякий человек в мире находил свое место. Я, как ты видишь, мальчик, стал менялой. Кем будешь ты, я не знаю...»

Баба-джан танцевал. Визжали дудки. Ревели карнай, свистели и пели, как чудесные птицы, гиджаки. Их музыка была под стать этой ночи обжорства, всему этому городу крови и молитв, владыкой которого был кази-раис, как ангел смерти появляющийся то перед тем, то перед другим горожанином.

Песни и стихи возникали в голове Кеминэ так же внезапно, как любовь к женщине, как боль в сердце. Он глядел на Баба-джана, а видел перед собой не только тоненького мальчика в алой рубашке; он видел прекрасную пленницу, которую бросил кази-раис на псарню, видел Курбана, видел каракалпака, которого днем били стражники по пяткам палками. И невольно мысли в его голове стали обретать лад песни. Он подождал, когда кончится пляска, и тихим голосом, каким говорил с моллой Непесом о бумаге и о жатве слов, прочел нараспев:

Бай смеется, и смеется подхалим,
Хан в свирепости своей неумолим.
В безобразиях кази неутомим.
Милый мальчик, мы тебя не отдадим.

Косы черные, как дождик, на плече.
Сердце, видя их, забилося горячей.
Милый мальчик, мы тебя не отдадим.

Бай крадется за тобою, как шакал,
И мулла за баем следом зашагал.
Кеминэ, готовясь к смерти, так сказал:
— Всех злодеев мы позору предадим.

Песня была длинная. В ней говорилось о том, чем болело и билось в ночь оразы темное сердце этого темного, слепого города.

Кеминэ читал негромко, и бай не слышали, о чем там бормочет попрошайка в рваной шубе. Но один пожилой узбек попроще подвинулся к Кеминэ и сказал:

— Прости, почтенный отец, я не расслышал, как ты сказал. «Кази в безобразиях неутомим. Мы ему мальчика не отдадим»? Если тебя не оскорбит моя просьба, повтори эти слова еще раз, а я позову своего соседа, пусть послушает и он. У него в лавке торгует сынишка, смышленный малец, но аллах, на его беду, наградил его красотой, так кази что-то частенько стал заглядывать в лавку.

И старик закричал:

— Ахмет! Ахмет!

Пришел сосед узбека Ахмет, а с Ахметом и еще пять хивинцев. Они слушали песню Кеминэ, а потом спросили чаю и стали предлагать старому шахиру кто лепешку, кто сушеную дыню, а Ахмет заказал целую миску плова и поставил ее перед поэтом:

— Ешь, ешь, добрый человек. Рассвет недалеко. Голодный день подкрадывается тайком, как кази-раис. Он придет и заткнет нам рты.

Кеминэ ел, Ахмет смотрел на него с любовью и тоской, а хивинцы разошлись по другим ашханам, и скоро в разных местах базара можно было слышать, как узбеки и туркмены, оглядываясь по сторонам, поют:

Хан в свирепости своей неумолим.
В безобразиях кази неумолим.
Всех злодеев мы позору предадим.

Услышал эту песню и мулла Пир.

10

Он стоял перед толстым минаретом, похожим на шею великана, с которого другой великан одним ударом снес голову, и поджидал Курбана. Сопи должен был взять его за руку и отвести в караван-сарай, где остановился на ночлег мулла и где уже спали его другие сопи.

— Курбан! — кричал он, вращая единственным глазом. — Курбан, где ты запропал, чертов сопи Курбан?

Курбан не слышал его. Бледный эрсаринец, еще слушая рассказы иомуда, заметил в толпе бородку Кеминэ — и теперь бегал по ашханам, спрашивая каждого: не видел ли кто нищего пришельца в рваной шубе? Только этот пришелец вовсе не нищий, это великий шахир, имя которого Кеминэ. Хивинские торговцы не слышали такого имени. Но один посетитель харчевни поглядел сочувственно на бледное лицо эрсаринского юноши и сказал:

— Твоего нищего шахира не видел. А вот не он ли сложил песенку, которая пришлась по нраву всем нам. И пропел:

Бай крадется за тобою, как шакал,
И мулла за баем следом зашагал.
Кеминэ, готовясь к смерти, так сказал:
— Всех злодеев мы позору предадим.

— Он, конечно, он! — закричал эрсаринец и пустился дальше разыскивать старого шахира. Но когда он пробежал мимо толстого минарета, похожего на шею безголового человека, мулла Пир схватил его за рукав.

— Вот ты где, негодяй! — завизжал он. — Блудливый ишак, я тебя целый час ищу. А ты всякий стыд потерял, бросил больного муллу и шляешься

неизвестно где. Иль ты забыл, что колтоманы выбили мне глаз, и хочешь, чтоб эти хивинские ишаки и второй проткнули? Смотри, как бы с тобой не случилось, что случилось с бродягой Кеминэ. Аллах наказал его. Накажет и тебя. . .

Мулла мог долго ворчать и браниться, только Курбан слушать его не стал, он нагнулся к самому уху Пира и прокричал:

— Все-то ты врешь, мулла. Кеминэ жив. Я его видел еще давеча, и он все рассказал, как было. Великий шахир Кеминэ сейчас в Хиве, и он сложил про тебя песенку.

Эрсаринец сделал вид, что поправляет мулле повязку, сжал его голову обеими ладонями, как арбуз, и пропел:

Бай крадется за тобою, как шакал,
И мулла за баем следом зашагал.
Кеминэ, готовясь к смерти, так сказал:
— Всех злодеев мы позору предадим. . .

Потом Курбан крикнул:

— Ну, прощай, мулла. Желаю, чтоб лопнул у тебя и второй глаз. А если ты скажешь своему черту кази-раису про Кеминэ, я всем иомудам и всем текинцам расскажу, как он избил тебя. Тогда не жди приглашений в аулы. Валяйся в своем доме на сопе и нюхай навоз.

Курбан прокричал, что хотел прокричать, и исчез в толпе. Поди ищи его. Кеминэ ошибся тот раз: бледный эрсаринец совсем не похож на сыновей Кеминэ. Молодые муллы одно знали — читать коран, а эрсаринец ничего не читал и ни одной молитвы не знал. По приказанию муллы ночами он воровал баранов и верблюдов; днем, истекая потом, таскал кирпичи для нового дома Пира и думал, что сильнее и злей муллы нет никого на свете. Но вот Кеминэ рассказал, как они с муллой возвращались от Хал-Мурада, вот Курбан вместе с другими хивинцами хохотал над шутками рассказчика — маддахи, вот он прослушал в харчевне новую песенку Кеминэ про безобразника кази-раиса — и Курбана словно подменили. Он накричал на муллу

Пира и теперь заторопился в караван-сарай, к другим сопи, чтобы подговорить их бросить муллу и уйти за город, в пески, в степь. Они станут, все двенадцать молодцов-удальцов, бродить от аула к аулу, рассказывать всякие небылицы, и один из них будет спрашивать рассказчика: «Где?» или: «Кто?» — и слушатели станут бросать им в тюрбеты медные гроши и серебряные монетки. Только рассказчик вместо «труслив, как баран» или «как хивинский торговец», будет говорить «труслив, как мулла Пир». То-то хохоту будет среди дайхан.

Курбан убежал. А мулла Пир, оставшись один, охая и оглядываясь, заторопился к кази-раису.

«Я не стану много говорить, — раздумывал он, пробираясь ощупью сквозь толпу. — Скажу, что слышал богохульную песню, и пусть великий кази, — да будет благодать аллаха на нем — сам придумает, что сделать с проклятым шахиром».

11

Кази-раису не сиделось эту ночь во дворце.

Он отведал дыни, которую прислали ему из Бухары, пососал винограду и перепачкал всю бороду в иншалде; потом позвал одного из стражников помоложе и велел ему танцевать. Но стражник успел съесть миску плова и вместо плавного танца делал только нелепые прыжки. Кази-раис хотел его ударить палкой, но потом махнул рукой и велел, чтобы это сделали другие стражники.

Ничто не веселило сердце раиса. Стражники ему надоели; плов он видел каждый день; от винограда в желудке поднималась истома. Он три раза подряд затаился чилимом и велел привести пленного фаранга, которого аскеры поймали возле стен города.

Стражники кинулись за пленным и через минуту приволокли его, подталкивая коленями в зад, и бросили на пол.

Фаранг упал, но сейчас же поднялся и, пошатываясь, стоял перед кази-раисом.

Халат, который столько лет висел на плечах Чее-Мурада, был изорван в клочья, на лбу пленника багровела шишка, борода, потрепанная стражниками, торчала во все стороны.

Кази-раис сразу узнал его: это был тот самый фараг, который месяц назад сидел во дворце хана и подбивал его идти войной на фарсов. Хан слушался его советов, как свое сердце; но месяц — большой срок. Насреддин-шах затеял войну с гокленами и прислал в Хиву послов, чтоб вместе с хивинцами и иомудами ударить на текинцев в наказание за их аламань. Хан послов шаха слушать не стал. Их угостили пловом и дынями и, одарив халатами, услали назад в Тавриз. Но и про фарага хан сказал: «Если эта лиса опять покажет нос в Хиву, надо ей отрубить хвост». А теперь и самого Насреддина убили фарсы, шахом стал Мухаммед. Против гокленов он послал Баба-хана. Другой бы кази-раис обязательно выпытал у пленного, зачем он надел текинский халат и чего искал у стен Хивы. Но сейчас кази-раиса горше всех государственных дел томила скука, и он спросил, зевая:

— Скажи, европейский человек, — ты много видел и все знаешь, — что лучше: поставить тебя на минарет и сбросить на землю или отрубить тебе голову? Или, может быть, ты любишь, когда тебе ножом режут горло? Скажи одно слово, и стражники сделают именно так, как ты любишь.

Что такое? Уж не хлебнул ли пленник араки? Его спрашивают: «Какую смерть ты больше любишь?» а он кричит и бранится и грозит кази-раису местью свих фараггов. Ему бы сплясать перед кази-рансом или кинуться на колени и молить о прощении, а он стал кричать и грозиться, точно он здесь господин, а кази-раис его пленник. И кази-раиса вновь одолела скука. Он велел стражникам удушить строптивного пленника руками, затем скинул богатое платье, надел халат простого дайханина и вышел на базар.

Ночь оразы шла своим чередом.

Не уставая, свистели дудки, трещали барабаны, ревел время от времени карнай. В ашханах пели. И много

всякого народа толкалось между лавками и харчевнями.

Молодые текинцы, взявшись за руки, с громким хохотом прошли мимо кази-раиса и свернули к ашхане.

Кази-раис, укрытый под платьем простого дайхана, последовал за ними.

Так когда-то и Гарун-Рашид-оглы, одетый бедняком, бродил по улицам Мерва и слушал разговоры горожан.

«Шляются эти дикари, — думал кази-раис, — а что у них на уме, знает разве только один мулла Пир, он одного с ними роду и племени. Где он запропастился, этот мулла? Такие, как он, большим уважением пользуются у своих единоплеменников. Кочевник-дикарь ничего не боится, храбрый, как лев, а перед своим муллою дрожит и трепещет, как пугливая лань...»

Молодые текинцы тем временем спросили чаю и сели в кружок.

Кази тоже спросил себе чаю и сел неподалеку. Гарун-Рашид не брезгал сидеть с горожанами, зато знал все. Вот теперь и кази-раис заглянет в душу степных наездников.

Туркмены сперва жадно пили чай, а потом один из них отставил пиалу, закинул голову и всем видом выразил желание начать песню.

Кази-раис даже закрыл глаза от удовольствия. Кроме собак и своего голоса, он еще любил пляску мальчиков и песни шахиров и бахшей.

Косы черные, как дождик, на плече,
Сердце, видя их, забилося горячеей... —

запел туркмен.

И кази-раис закивал головой. «Конечно. Этот народ — народ бахшей; кроме песен о любви, он не думает ни о чем».

В безобразиях кази неутомим.
Милый мальчик, мы тебя не отдадим... —

пел туркмен.

Кази разом забыл о скуке, открыл глаза и по привычке глянул через плечо. Но стражников за спиной

не было, а на плечах кази висел пыльный халат простого дайханина.

Туркмен пел:

Бай крадется за тобою, как шакал,
И мулла за баем следом зашагал.
Кеминэ, готовясь к смерти, так сказал:
— Всех злодеев мы позору предадим.

Кази-раис одернул халат и, ничем не выдавая охватившей его злости, спросил у певца, который замолчал и сидел, прихлебывая чай:

— Скажи, добрый человек и искусный певец: откуда ты слышал такую интересную песенку? Я вот дожил до почтенных лет, а такой интересной песни не слышал ни разу.

Туркмены взглянули на его бедняцкий халат и ответили доверчиво и просто:

— Не удивительно, почтенный отец, что ты не слышал этой песни. Ее сложил сегодня один мудрый человек. В одном пальце его больше ума, чем в голове старого распутника кази-раиса.

А другой туркмен, вспомнив, что рассказывали про Кеминэ, добавил восхищенно:

— Эту песню сложил великий шахир Кеминэ, тот самый, который был учеником ненавистного Пира. Уж и отделал он его! Глаз выбил, чуть до смерти не убил. Так ему, прожорливому кабану, и надо. Да это не он ли?

И он пальцем указал на чайхану, где Ахмет угощал Кеминэ пловом.

Кази-раис сдержал свою злость и быстрыми шагами направился к Кеминэ. Он сразу узнал его. И Кеминэ тоже сразу понял, кто этот переряженный старик в рваном халате и с мешками у глаз.

— Прости меня, ата, — сказал раис, кривя губы, — это не тебя ли народ называет таким словом: Кеминэ?

— Ата, — ответил ему живо Кеминэ, — я ведь не спрашиваю, как называет народ тебя, потому что не хочу тебя обидеть. А если ты пришел просить милостыню, то я и сам бедный человек. Последнюю монету отнял у меня сегодня кази-раис за одно слово правды.

«Так, так, это, конечно, он», — подумал кази и продолжал, стараясь казаться ласковым и добрым:

— Я вот услышал сейчас одну хорошую песенку про кази-раиса. Не доводилось ли тебе ее слышать когда-нибудь?

Кеминэ молчал, и кази повторил свой вопрос.

— Глупый ты человек, — сказал тогда Кеминэ. — Ну как я могу сказать, слышал я или не слышал то, чего я не слышал? Если песня хорошая, ты повтори ее, и я сразу скажу, слышал я ее или нет.

Кази-раис сдержал негодование и повторил слово в слово песню, какую услышал в ашхане.

Кеминэ закивал головой.

— Хорошая песня, — сказал он, — хорошая. Я с тобой вполне согласен. Но клянусь бородой пророка, что до этого дня я ее никогда раньше не слыхал.

Что тут оставалось кази-раису делать? Будь с ним стражники, он просто велел бы схватить грубияна и сделать с ним то, что час назад сделали стражники с фарангом. Но кази был один, а на плечах его — старый халат простого дайханина. И он ничего не придумал лучшего, как откинуть притворство и сбросить старый халат. Пусть видят, что это не бедный дайханин, а сам управитель города, главный судья и хозяин над жизнью и душами правоверных.

Признав кази, туркмены не успели броситься кто куда, как раздался шум, кто-то визгливо закричал:

— Кетт, кетт, расступитесь!

Толпа раздалась, и перед старым шахиром встал повязанный шелковым платком, усталый и потный от долгих поисков кази-раиса великий мулла Пир.

Ну вот, Кеминэ, и пришел твой последний час. И чего ты, старый упрямец, все поровил сунуться в самую пасть к тигру! Ведь тебе не двадцать лет, и руки у тебя не как у Чее-Мурада; это кузнец мог сжать волку шею, и волк высовывал язык и, поджав хвост, мертвый валился на песок. У тебя болит сердце, и душа давно готова, как жаворонок, взлететь к небу. Сидеть бы тебе в ауле на тое у Шукур-Арыка и слушать песню, какую поет Кары-Оглан. Или сидеть бы тебе в седле. Под ногами добрый песок. Осел мудр. Ему скажешь

«кх-кх» — он идет. Сказал «чёш-чёш» — стоит. Ты ведь шахир Кеминэ, ну и складывай свои песни о любви и смерти, как Махтум-Кули, как Зелили или как молла Непес, а властителей не трогай. Вот стоит перед тобой кази-раис, в глазах которого молнии и огонь; вот стоит перед тобой мулла Пир, готовый перегрызть тебе горло. Вот стоят перед тобою сила и власть. Они бросят тебя в зиндан; они отрубят тебе голову или возведут тебя на высокий минарет и толкнут вниз. «Иди, — крикнут, — в землю, отродье земли, по которой столько лет таскал ты свое нечестивое сердце». Что ты можешь поделаться, старый бедняк Кеминэ? Мулла есть мулла, и кази есть кази. И пока светит солнце, кази будет давить людей, а мулла растить брюхо и скликать покойников.

Чем ты осилишь их? Что ты можешь, непоседа и упрямец Кеминэ? Что у тебя есть?

12

У Кеминэ был язык. Вот что было у Кеминэ. И у Кеминэ было сердце, настоящее сердце шахира и бедняка. При виде муллы сердце Кеминэ сжалось от ненависти, но язык Кеминэ почтительно сказал:

— Салам-алейкум, мулла Пир. Что это ты похудел так и побледнел? Спасибо, что ты навестил меня. Ты, верно, пришел получить то, что я остался тебе должен? Погоди немножко. Вот мы кончим беседу с моим другом кази, который сперва пропел мне одну хорошую песенку, а теперь захотел похвастаться своим новым халатом, и я охотно провожу тебя до Ташауза. По дороге мы и рассчитаемся уже до конца.

Жадней и злей не было муллы, чем мулла Пир, но ведь не было никого и трусливее его.

«Кази не знает, что колтоманов не было и избил меня Кеминэ, — подумал мулла. — Конечно, кази мне друг, но он пять дней жил у муллы Сеида. Кто знает, что этот завистник муллы наболтал ему? Кази-раис любит не только свою псарню и стражников. Он, как некогда султан Хусейн-Байкара, любит, чтобы в доме

его пели свои песни самые искусные шахиры и бахши. Звал же он к себе муллу Непеса. Кто знает, может быть, он позовет и Кеминэ. Недаром старый бродяга уже назвал его своим другом. Мне тоже почету будет больше, когда кази-раис узнает, что знаменитый шахир был моим учеником».

И на всякий случай мулла Пир сказал заискивающе:

— Здравствуй, здравствуй, мой почтенный сопи, — и покачал укоризненно головой. — Зачем так говорить про своего учителя в присутствии великого кази, да будет над ним милость аллаха? Он может подумать, что завистник и негодяй Сеид болтал правду, будто я жаден и скуп и деру со своих учеников три шкуры. И будто у меня в учениках одни дикари, ни одного нет почтенного человека. Если бы Сеид увидел тебя, закрыл бы свою лживую пасть. Уверяю тебя, мой самый благонравный из учеников, чей дар слова известен каждому, — и четверти того, что ты дал мне, мне хватило бы на всю жизнь. Если бы мог, я бы с удовольствием вернул тебе часть полученного. Но ты сам знаешь — как верну?

Этимися словами мулла давал понять Кеминэ, что он не сердится. Пусть Кеминэ молчит, и он будет молчать.

«Как же так, — раздумывал тем временем кази-раис, — в ашхане болтали, будто богохульную песню сложил этот бедняк, который и глаз мулле выбил, а мулла Пир благодарит его за подарки и называет своим лучшим учеником?»

И, подождав, когда Пир замолчит, кази сказал:

— Ты говорил, почтенный мулла, что на тебя в песках напали колтоманы, а туркмен в ашхане рассказал, будто этот попрошайка подбил глаз своему доброму мулле.

«Это Курбан наболтал», — подумал сразу мулла, и злость, которая кипела в его жилах, вырвалась наружу.

— И ты поверил этой брехне, великий кази? — воскликнул он. — Да брехуна, который наврал тебе, надо схватить и кинуть в зиндан. Может быть, он не ушел

еще, идем скорей. Ложь — самый великий грех на земле.

И, взяв кази-раиса за руку, мулла Пир поскорее покинул базар, как будто затем, чтобы идти искать Курбана.

Вот такая удача выпала Кеминэ. То гнев кази, а с ним и лютая казнь подступили вплотную, а то вдруг мулла Пир взял кази-раиса за руку и сказал: «Уйдем скорее!» Смейся, радуйся, Кеминэ! Еще вновь увидеть тебе и солнце над головой и родную ширь перед глазами.

Но ведь у Кеминэ все было не как у других. Он поспешно поднялся и ухватил Пира за халат.

— погоди, постой, мулла! — закричал он. — Кто это наболтал, будто я избил доброго муллу?

А мулле только бы отвязаться от Кеминэ. Он обернулся и сказал скороговоркой:

— Да тут один недостойный послушник-сопи наболтал, будто ты избил своего доброго муллу...

И вот тогда — подумайте! — Кеминэ всплескивает руками и кричит чуть не на весь базар:

— Враки какие! Чтобы я стал бить доброго муллу! Да я доброго муллы и в глаза не видал. Как врет этот соп! Где же он? Если он такой врун, каков же у него учитель? Пусть великий кази воздаст обоим лжецам по заслугам!

Мулла насилу вырвал полу своего халата из рук Кеминэ. И давай бог ноги! .. От него не отставал и кази-раис. Без стражников быть один на один с этими степными дикарями у него не стало охоты. Даже не старые люди в Хиве помнят, как толпа на базаре растерзала великого везиря хана Абдуллы. Тот везирь, что был злее кази-раиса, что ли? Или вы скажете, что было двадцать лет назад? А разве за двадцать лет изменился мир? Как лежал на семи своих слонах, так и лежит недвижим.

Не прошло и мгновения, как обоих властителей — и земного и небесного — след простыл.

Ахмет, угостивший Кеминэ пловом, все время с той-ской глядел на кази-раиса и от страха щелкал зубами.

Но едва великий раис скрылся из глаз, как он поднялся и толкнул Кеминэ в грудь;

— Нарушитель священного шариата! — закричал он со злостью. — Мы думали, ты хороший человек, заступник правды, и не пожалели для тебя угощения, а ты клянешься бородой пророка, что не знаешь песни, какую сложил сам. Кази-раис — собака, и будет благовословен тот, кто из-за угла пырнет его ножом; но правый, который ложно поклялся, даже хуже собаки.

И он принялся трясти Кеминэ с такой силой, что бедный шахир испугался за свои заплаты. Эти хивинские рабы шариата всегда так: кази-раис таскает их за бороды — они молчат, а стоит одним словом коснуться волоска пророка — и они готовы тебе перекусить горло.

— Друг мой, — сказал Кеминэ ласково, — если ты жалеешь плова, каким угостил меня, то едва ли вытрясешь его из меня раньше времени. А насчет пророка ты ошибаешься. Песню, которая тебе понравилась, сложил я, но кази хотел узнать — слыхал ли я ее раньше. А это не одно и то же. Так что пусть твой пророк не обижается.

Ахмет оставил шахира, поглядел на небо, погладил бороду и не торопясь пошел к своему дому, бормоча вполголоса всякие слова. Зато Кеминэ сразу заторопился. Он вспомнил, что обещал послушать Кары-Оглана, поспешно взгромоздился на осла и погнал его к воротам, чтобы во-время успеть на свадьбу к Шукур-Арыку, о котором он и не слышал никогда раньше.

Ночь уже окончилась. Фонари в лавках гасли, ашханы пустели, и день оразы снова готовился поднять над темным городом свою круглую глупую морду.



К Н И Г А П О С Л Е Д Н Я Я

1

Туркмены не первый век живут в песках, и много их умерло в разное время — и текинцев, и чаудуров, и иомудов.

Кочевник кумли¹ жизнь проводит в седле, а приходит смерть, он слезает с коня, ложится на кошму и, посмотрев последний раз на небо, закрывает глаза. Только не каждому дано умереть на кошме. Джигит умирает в седле, в бою с врагами. Дайханин — с кетменем в руках, среди комьев свежей пашни, обессилев в битве с песками, осаждающими со всех сторон крохотный клочок его поля. Чопана смертный час караулит среди барханов, как голодный волк караулит в зимнюю стужу барана, отбившегося от стада. Влюбленный юноша падает на песок и умирает от неразделенной любви, среди ящериц и черепах. А был безумец бахши, который влюбился в ханскую дочь, — так тот умер в воздухе. «Если ты спрыгнешь с минарета и останешься жив, я стану твоей», — сказала негодница, наделенная красотой и лишенная сердца.

¹ Кумли — житель песков. Так полунасмешливо городская знать и торговцы именовали кочевников-туркмен, жителей Каракумов.

«Моя любовь идет к тебе через закатный луч», — пропел бахши и кинулся на землю, куда долетел мертвым.

А те, кого взяли в плен и продали в рабство, умирают от голода, от палки хозяина, от собаки его. Умирают оттого, что не забыли ни родных песков, ни сладкой синевы родного неба.

Иные умирают в степи под копытами вражеских коней. Иных жалят змеи в зиндане, иным втыкают в грудь нож. Всякий человек в песках живет как другие, а умирает по-своему.

А Кеминэ жил по-своему, и умер вот как.

Он оставил Хиву с муллой Пиром и кази-раисом, оставил темного Ахмета с его бородатым пророком, оставил весь этот слепой и страшный в своей слепоте город и поехал к колодцу Даудыр, где недавний чопан, тюдукчи Шукур-Арык, справлял свадьбу. Чопан скопил баранов на калым и купил невесту. Пускай она была не такая красавица, как Халли, и никогда их песни не лились согласно, как два ручья, но отец невесты спросил за дочку ровно столько баранов, сколько скопил Шукур-Арык, и чопан стал готовиться к тою. У него будет свой дом, и пройдет год, и у него в доме будет высшее счастье человека — может быть, у него родится сын.

Кеминэ ехал, подгоняя осла, и пел песню, которую сложил Махтум-Кули, но которую мог бы сложить и Кеминэ:

Для слепых я глазами был,
Для немых я устами был,
Для народа я сказкой был,
Для любимой я лаской был,
Я для родины песней был,
Я всех песен чудесней был,
А теперь нет беднее певца.

А потом ему на ум пришла другая песня, какую сложил Сеиди, и он пел эту другую песню:

Со скуповатым беком в дружбу не вступай,
Якшайся с бедняком безродным лучше, —
Широк объятьями, но сердцем узок бай,
И жизнь окончить с бедняками лучше...

Кеминэ ехал, подгоняя осла, а боль в его сердце все ширилась, и каждый шаг, что приближал его к свадебному тою, приближал его к могиле.

2

Это был большой той, и целый год потом поминал о нем каждый, кого как гостя позвал чопан Шукур-Арык на свой праздник.

Кто только не пришел к Шукур-Арыку! И борцы, и наездники, и стрелки из лука, и певцы, и мастера игры на гиджаке, и дутаристы, и те, в чьих руках простая камышовая дудка — туюдук — становилась поющим серебром, и рассказчики со своими помощниками, и фокусники.

Пришел даже старый Дурды, тот самый, кому выколол глаза Мухаммеддин-шах.

Дурды попал в плен на другой день после своей свадьбы. Он десять лет просидел в плену, в Тавризе, и лишился глаз за то, что не хотел своей игрой веселить шаха. На одиннадцатый год он подговорил стражу и убежал домой.

Он два месяца шел по степи, играл на туюдуке и спрашивал у каждого туркмена:

— Скажи: жива ли еще моя жена, Артык-Нияз? Здорова ли она, лучшая из красавиц? О мой брат, скажи: цел ли тот сад, из которого десять лет назад улетел соловей? Ее стан подобен кипарису, а лицо красивей луны. Ждет ли она своего соловья, летящего на родину?

Артык-Нияз была жива, но по пескам прошел мор в виде оспы и оставил на лице ее крупные рябины. Прежде она была красивей луны, а теперь стала кривым месяцем, который еле просвечивает сквозь тучи.

Артык-Нияз жила со своим старым отцом, ждала мужа и боялась, что он увидит ее лицо и отшатнется. Целое озеро слез пролила она, поджидая Дурды.

И когда он был всего в трех сутках пути, она перестала плакать, села у порога и уставилась в степь.

— Отец, не слышишь ли ты — будто песня моего мужа вдали? — спросила она.

— Что ты, что ты, Артык-Нияз, Дурды давно убили, ложись спать.

На степь наваливалась ночь. Артык-Нияз ложилась, но спать не могла. Она снова вскакивала и садилась на порог, залитый светом луны.

— Я слышу песню тюйдука за холмами. Это соловей возвращается в свой сад, в котором облетели все листья.

— Спи, — ворчал отец.

А она руками сжимала колени и твердила, смеясь и всхлипывая:

— Жив! Жив! Я слышу его песню вдали.

Когда Дурды показался на высоком бархане, Артык-Нияз наполнила водой большой таз, опустила в него рот и нос и задержала дыхание, желая умереть.

Но вот в воде она увидела свое отражение, вскрикнула и рассмеялась.

Слезы смыли следы болезни, и лицо ее было как чистая луна в ночь полнолуния.

Плача и смеясь, она кинулась навстречу мужу, а он повернул к ней безглазое лицо и спросил:

— Скажи, сестра, далеко ли до моего аула и здорова ли моя жена Артык-Нияз? . .

Это было давно. Теперь он совсем старый и седой, слепой тюйдукчи Дурды. Он не расставался с женой. Куда шел он, туда шла и слепая Артык-Нияз. Она ослепила себя, сказав: «Я столько лет смотрела на дорогу! Ты вернулся. Что мне еще высматривать в этом мире?»

На этот раз Дурды оставил жену и приехал на той.

Был тут и Ораз-Мети, который когда пел, жаворонки садились к нему на плечи и с завистью заглядывали в рот.

Пришел и дутарчи Хаджи-сопи-Накат-Нияз-оглы. Он тридцать лет не выпускал из рук дутары, и пальцы на руке его стесались о струны до костей, как нож стесывается о камень.

Вот приехал на черном коне старый Сапар-Клыч. Зубов у него не осталось, как не осталось и ни одной жены. Всех похитили разбойники-курды. Сапар-Клыч тот раз играл свою знаменитую песнь поющего зайца, когда в аул заявили колтоманы. Он слышал крики женщин, которых любил, как свои глаза, но песню он любил больше, и когда он кончил петь, только пыль на дороге могла бы рассказать, в какую сторону усаkali колтоманы.

С тех пор прошло двадцать лет. Пять раз на состязаниях он выигрывал аял-гаш, и хоть ни одного зуба не увидишь у него во рту — кто скажет, что и на этот раз серебряный убор на коня не останется за ним?

Гости шли и ехали со всех сторон. Те, кто побогаче, привозили свои кибитки. У кого дома оставалась семья или была всего одна кибитка, те, приехав на свадьбу, зарывали в песок один конец шеста, на другой вешали кошму и сидели в тени шатра, ожидая начала праздника.

Богатых гостей было мало. Шукур-Арык, потеряв Халли, дал клятву, что ни одному баю, будь он даже родным дядей и умирай от усталости и жажды, никогда не скажет он «добро пожаловать» и не распахнет перед ним занавеску, скрывающую вход в кибитку.

Из богатеев на той пришли только те, у кого страсть к состязаниям и скачкам была сильнее, чем обида на суровое негостеприимство хозяина.

Ржали копи, кричали ослы. Иные гости пригнали своих баранов, и бараны блеяли, трясая курдюками, пока аульные псы не успокаивали их отрывистым хозыйским лаем.

Пригнал своего верблюда и Шукур-Нияз. На гиджаке он играл так, как тридцать лет назад пел. Но один раз соперник певец, сын аульного бая, подсыпал ему в миску толченых верблюжьих колючек, и теперь в горле его, вместо голоса, верблюжий плач.

Среди гостей видели молодого незнакомого туркмена в огромной папахе. Лицо его, без усов и бороды, было как лицо красивой женщины, а в глазах грусть.

И никто не считал приличным спросить: «Из какого ты аула, молодой друг, и что тебя привело на веселый той?»

Халли оставалась в ауле Шукур-Арыка недолго. Она осведомилась, не видал ли кто сыновей Кеминэ и ускакала, не улыбнувшись ни разу, не сказав Шукур-Арыку «будь здоров» или «живи долго».

Шукур-Арык был бедным чопаном, и у него было столько баранов, сколько потребовал отец невесты за калым. Но у Шукур-Арыка было много друзей, и, чтоб справить той, каждый дал ему взаймы по барану или по два, и целое стадо баранов теснилось возле котлов, готовясь стать угощением для участников той.

Шукур-Арык был бедный чопан, тюйдукчи, но в его черной кибитке над изголовьем висело серебряное украшение для коня — аял-гаш, наследие отца, полученное за песню, которую отец Шукур-Арыка, когда был молодым, спел на знаменитом состязании певцов у подножия Балханских гор.

Готовясь к свадьбе, Шукур-Арык сказал:

— Пусть я бедный чопан, но праздник будет богатый. Пусть придут в гости лучшие борцы, стрелки из лука и джигиты. Справим той, какой и не снился Еген-Оразу. Пусть во время пира поют свои песни бахши, и кто споет лучше других, тому я дарю аял-гаш, единственное наследие отца.

Джарчи разошлись по аулам, и со всех колодцев потянулись к колодцу Даудыр гости. Шукур-Арык звал и Еген-Ораза, но, вернувшись, джарчи сказали:

— Еген-Ораз умер, а его жена Халли делась неизвестно куда.

3

Когда Кеминэ подъехал к колодцу Даудыр, той уже начался.

Высокий помост из глины и жердей был водружен посреди такыра, и на помосте стояли те, кто будет судить о победе.

Гости тройной стеной окружили площадку.

Всю дорогу Кеминэ нетерпеливо подгонял осла, точно и он хотел оспаривать у бахши серебряную плетенку на коня. Или, может быть, он боялся умереть, так и не послушав Кары-Оглана.

Кеминэ был не молод и сердце его давно болело от огорчений мира. Когда он бил муллу, он сильно устал. К тому же мулла Пир в степи ударил его ногой в грудь. А потом Чее-Мурад, когда лежал связанным, тоже стукнул его легонько коленом в плечо. Қази-раис, требуя штрафа, толкнул его в спину. Обидчики все получили от поэта по заслугам; а все-таки и Кеминэ было чем помянуть их. Да еще и Халли один раз, смеясь, толкнула его в бок. И глупый Ахмет едва не вытряс из него душу. Да и прежде бывало, что либо мулла, либо баи толкали и били его — кто в плечо, кто в живот, а кто и в самое сердце.

Вот и получилось, что разгорелся в его груди уголек боли, который мешал говорить и перехватывал дыхание.

Когда Кеминэ завидел аул Шукур-Арыка, лицо его было совсем желтым, точно он день и ночь перед тем курил терьяк.

Молла Непес и Кары-Оглан приехали раньше. Им достались хорошие места позади тех, кто лежал и кто сидел вокруг площадки, а позади них теснились зрители на конях.

Кеминэ тоже потолкался в задних рядах всадников. Но разве осла под силу растолкать могучих коней?

Кеминэ махнул рукой и отъехал в сторону.

Под кустом кандыма он раскинул шубу, опустился на землю и сразу заснул.

Какой он стал слабый, этот Кеминэ! Ну, какой туркмен заснет во время тоя! Да он пять ночей и пять дней не слезет с седла, чтоб только увидеть, как десять коней выстроились в ряд и по знаку судьбы кинулись вскачь. А если бы и заснул — какой надо иметь сон, чтоб не вскочить, когда зрители закричат, засвистят, заревут, приветствуя победителя! Иргаш пять кругов шел третьим, а на последнем круге лег на шею коня, взмахнул

локтями и сразу оставил позади бравого джигита Джуму.

— Хай, хай! — закричали те, кто, как и Джума, были из рода Аманза.

— О алла, берекиля! — заголосили родственники Иргаша. — Молодец, держись!

А Кеминэ спал и не слышал ничего. Уж он всегда так. Если полюбил красавицу, то самому молле Непесу не сыскать слов, какие подберет Кеминэ для своей песни. Если невзлюбил кого, то забудет, что ему полезно и что вредно, себя не пожалеет, а добьется того, что враг поползет по песку, точно жаба с выпученными от страха глазами. Если есть захотел, так тут ораза, не ораза — ни на что не смотрит, сидит и чавкает на всю Хиву. Ну, а заснул, так не то что той, сам Мадаминхан приводит свои войска и начинай битву — Кеминэ не проснется.

Той длился долго, и Кеминэ спал долго. Уже проскакали по кругу все лошади, и попадали на песок борцы, поваленные на спину своими соперниками, и тойбаши прокричали имена победителей, и солнце стало потихоньку пробираться к пескам, а Кеминэ не просыпался. Широкие ступни его покоились одна на другой, и большой палец той ноги, что была сверху, торчал прямо в небо, словно он кому-то указывал на падавшее солнце.

Потом борцы очистили круг, и на площадку вышли стрелки со своими луками и пищалями. Это были молодые парни — охотники и джигиты, и только тот, кто шел позади всех, был настоящий аксакал. Он шел на согнутых ногах, и белее его бороды не увидишь ни в одной мечети. Гости встретили его таким ревом, что палец Кеминэ дрогнул и согнулся. Нога упала одна с другой, старый поэт зевнул и открыл глаза. Уголек в груди не остыл, не потух. Он разгорался жарче, и чтобы утишить боль, Кеминэ разорвал на груди рубаху, глубоко вздохнул, потом согнал с носа муху, зевнул и снова заснул, точно и не слышал никакого крика.

А зрители кричали:

— Тауши, Тауши, сам Тауши-Мергень!

Это был сам Тауши-Мергень.

Кто был этот Тауши-Мергень? Какого он племени и рода? И где его аул? Может быть, это знатный мулла или родич кази-раиса? Или был он в Мекке и целовал черный камень пророка? Или нет богаче его человека в песках? Кто он, что все гости кидают вверх шапки и взбадривают коней, чтоб и те ржали, вскидывая головы? Или он в бою победил самого шаха? Или у него двадцать кибиток раскинуты возле колодца и двадцать жен стелют в них на ночь свои постели? Или он великий шахир? Или знает всякую книгу так, что может читать ее даже во сне? В Бухаре так режут стражники и аскеры, когда раскрываются ворота крепости и эмир на белом коне выезжает на Регистан.

Тауши-Мергень¹ был не эмир и не мулла. Он был мергень — охотник и стрелок. Вот и все.

Он шел, еле передвигая ноги, и ветер играл его бородой. Ему было сто два года; борода его бела, как соль, но лицо у него розовое и гладкое, как у девушки.

Он даже не был настоящий туркмен. Никто не знал, кто были его предки. Но он был Тауши-Мергень, и всякий туркмен, завидев его коня, всякий раз выбегал из кибитки и, взяв повод из его сухих рук, вел коня к своему дому. Он сажал мергеня на главное место, говорил: «Как твое здоровье?» или «Как твои глаза?» Потом угощал его чаем, насыпал на поднос сушеного урюка и протягивал ему чилим.

Но мергень чаю не пил и трубки в рот не брал.

Он говорил:

— Чай другие пусть пьют, — и отказывался от чилима, если даже хозяин, набрав в рот дыму, просил старика просто разжать губы и вдохнуть в себя горькую сладость табака изо рта хозяина. — Пусть это хивинцы нюхают дым, — говорил Тауши.

Хозяин не обижался. Он открывал рот и не жалел, что дым уходит к небу, не причинив никому радости.

Это был Тауши-Мергень, и хозяин говорил как бы невзначай:

¹ Мергень — охотник, стрелок.

— А ребята были в степи и видели фазанов.

И, словно невзначай, снимал со стены лук.

Мергенъ продолжал сидеть не двигаясь.

Хозяин перебирал стрелы и добавлял:

— Барса в Фирюзе обложили. Очень большой барс, и нет никого, кто бы мог прострелить ему глаз. Уйдет барс.

Тогда мергенъ оживлялся. Он брал из рук хозяина лук и спрашивал, где был барс и когда видели его в последний раз.

Он садился на коня и, окруженный молодыми охотниками, скакал в горы.

А потом по всем аулам гор и по всем аулам песков рассказывали, как на скаку, не сдерживая коня и даже не переводя его на рысь, старый мергенъ выстрелил в зверя, и стрела прошла барсу через глаз; зверь умер тут же, не успев даже приготовиться к прыжку, и лапы его были мягкие, как у кошки.

Ну, а если никакого барса не встречали охотники, тогда еще больше рассказов услышат аулы. Ведь Тауши не успокоится, пока стрела, положенная на тетиву, не найдет своей добычи.

Если Тауши-Мергенъ возвращался в аул с охоты и стрела все еще лежала на тетиве, не найдя применения, тогда все мужчины бросали разговоры и дела, они хватали луки и бежали к кибитке, где сидел лучший стрелок туркменских песков Тауши-Мергенъ.

Состязание начинал самый младший стрелок аула. Он поворачивал ухо к песне жаворонка и спускал стрелу. Жаворонок умолкал и падал к ногам стрелявшего.

Тауши-Мергенъ сидел неподвижно.

За первым выходил второй стрелок. Он садился на коня, ударял его плеткой, подкидывал тюбетейку, потом быстро перекидывал лук через плечо и, не глядя, спускал тетиву.

Тюбетейка падала на песок, и в самой середине ее было отверстие, как в кибитке в самой середине бывает отверстие для дыма.

Тауши-Мергенъ все еще сидел неподвижно, но уже начинал улыбаться.

За вторым из толпы выходил третий, самый зоркий мергенъ аула. Он снимал с пальца перстень, отдавал его приятелю, садился на коня и на всем ходу, не глядя, спускал тетиву. Стрела, зазвенев, проходила сквозь кольцо, которое держал между большим и указательным пальцами приятель мергеня.

Тут поднимался и старик.

Он снимал с кушака нож и долго точил его на камне, пока нож не становился острым, как язык Кеминэ.

Тогда старик зарывал нож в песок, чтоб только самое острие торчало над сухой травой. Потом он отходил на сто шагов и начинал целиться. Целился долго. Кажалось, он засыпал, стоя с луком в вытянутой руке. И никто не двигался в те минуты, и только слышно было, как сердце в груди старика дрожит от напряжения.

Старик целился одну минуту, и другую, и третью. И оттого, что он целился так долго, у тех, что ждали, начинали дрожать руки и ноги. Если б им нужно было сейчас стрелять, они бы не попали не только в нож, не попали бы и в быка, привязанного на веревке.

Старик целился целых пять минут. Он смотрел в одну точку, и глаза зрителей смотрели в одну точку. Глаза их начинали слезиться, и они видели, как волнуется теплый воздух, который поднимался от песка.

Наконец старик спускал тетиву. Стрела рассекала воздух и летела туда, куда послал ее зрачок старика. Наткнувшись на острие ножа, стрела раскалывалась на две части и с сухим треском падала на песок.

Тауши-Мергенъ уже снова сидел в кибитке, когда хозяин подвязывал обе половины стрелы к шерстяной нитке, потом нитку клал на два пальца, и все видели, что одна половина стрелы весит не больше и не меньше, чем другая.

Тауши уважали все — и текэ, и иомуды, и чаудуры, и гоклены, — а ведь он был нухурли, уроженец долины в горах, где селились со времен Искандера беглые рабы чуть не из всех государств и стран Азии. Жителей Нухура никто не считал истыми туркменами, и если бы внук Тауши захотел жениться — ни один из зрителей не дал бы за него свою дочь, предлагай мергенъ за нее

даже двести верблюдов, груженных самыми лучшими бараньими шкурами. . .

Вот какой это был той, раз даже сам Тауши-Мергенъ оставил горы и притащился в аул на своих кривых ногах.

5

Туркмены не первый век живут в песках, и много их умерло в разное время — и текинцев, и чаудуров, и иомудов. Туркмен жизнь проводит в седле, а приходит смерть — он слезает с коня, ложится на кошму и, посмотрев последний раз на небо, закрывает глаза.

Кеминэ не один десяток лет провел в седле, а умер на кошме, укрывшись рваной шубой.

Уже Мергенъ сделал свой знаменитый выстрел и сидел среди гостей, поглаживая бороду и отворачиваясь от табачного дыма, а мальчишки собирали стрелы, которые валялись на песке, недвижные, как умершие птички, когда Кеминэ проснулся.

Солнце давно добралось до песков и закапывалось в них, как красный жук. На небе уже ясно загорелась осенняя звезда Ялдырак, когда Кеминэ открыл глаза. Подумайте, он проспал весь той! Уж горели возле кибиток костры. В казанах варились бараньи туши и кипела вода. Бахши и дутарчи сходились в кибитку Шукур-Арыка. А Кеминэ с трудом приподнялся с земли, оседлал осла и поехал не к кибитке хозяина, а в пески, за которыми недалеко лежал аул Токлы-яшеноков.

Кочевник кумли всю жизнь ездит по пескам, куда влечет его беспокойное сердце, а когда приходит конец жизни, он возвращается в родной аул и ложится на кошму.

Кеминэ всю жизнь таскался по степи, а когда уголек боли прожег ему внутренности, он махнул рукой, взгромоздился на осла и сказал ему в последний раз: «Кх-кх!»

Осел не заставил себя уговаривать, подождал, когда хозяин подвернет кошму поудобней, и бойко побежал к аулу, где стоял шатер Кеминэ.

За спиной шахира раздавались смех и песни, а над головой стояла осенняя звезда Ялдырак.

Когда на небо поднимается Ялдырак, в тугаях зацветает камыш и ночи делаются холодными и влажными. Лето кончилось. Завидев зеленую звезду на закате, путник одевается потеплей и не заботится о запасах воды в пути, засуха кончилась.

Сколько лет стоит недвижно земля и сколько лет ходит по небу солнце, столько лет и Ялдырак загорается над барханами. Он выходит на небо и видит песок, который опять покрывается травой и цветет, как в марте. Он видит верблюдов, которые обрастают шерстью, готовясь к зиме. Он слышит песни и крики гостей, которые собрались на той. Как только он не оглохнет, этот Ялдырак! Стоит ему показаться на небе, как в аулах начинаются праздники. Что ни аул, то и той. А если в ауле той, то до самых звезд доносится хохот и крик гостей. Потому Ялдырак и недолго задерживается на небе. Погорит и спешит вслед за солнцем в пески. И опять покажется лишь к утру, когда гости устанут, сидят тихо, и только слышен голос певца и шепот струн, по которым дутарчи не уставая бьют пальцами.

Ялдырак и на этот раз погорел и погас, и наступила ночь. А когда он снова зажегся, Кеминэ завидел родной аул и свой черный шатер, который стоял возле арыка, куда его поставили беглые рабы, ставшие колтоманами.

В ауле все оставалось на месте. Шатер Кеминэ был пуст. Жену его не видел никто, сыновья бродили по чужим аулам, и никто не вышел навстречу, когда усталый осел поднял голову и хвост и затрубил печально.

Он ревел до самого рассвета, пока звезда Ялдырак не стала холодной и прозрачной. Казалось, осел сам, как звезда, скоро станет бледным и прозрачным от усталости. И когда он умолк, стряпухи выставили в двери кибиток красные трубы своих головных уборов и закричали мужьям:

— Кеминэ вернулся. Это его осел не давал нам спать на рассвете.

— Пришел наш старый Кеминэ.

— А говорили, будто Кеминэ убит и тело его сожрали шакалы.

Женщины любили Кеминэ и ждали только, когда мужья уедут в пески, чтоб навеститься к шахиру.

Мужья тем временем надевали халаты и, потягиваясь со сна, кричали пренебрежительно и злобно:

— Вы уж и рады, что этот старый брехун жив! Такому бездельнику лучше б в самом деле валяться на песке мертвым.

— Опять он начнет выдумывать свои штуки, от которых нет покоя.

— Вместо того чтоб языком трепать, смотрела б, чтоб вода из казана не ушла.

И еще мужья кричали много злобных слов, потому что Кеминэ был с в о й для Токлы-яшеноков и не имел ни настоящей кибитки, ни баранов в песках, ни даже жены. Он складывал песни. Так разве это дело — трепать языком и складывать песни?!

Похлебав шурпы, мужья сели на коней и поехали за холмы, где их ждало настоящее дело.

За холмами паслись бараны.

Это были зажиточные Токлы-яшеноки; те, кто беднее, ушли на той к Шукур-Арыку...

6

Как только кони мужей скрылись за песками, а старухи поплелись в барханы за топливом, женщины аула собрались гурьбой и направились к кибитке Кеминэ.

Больной не спал. Он лежал на кошме, но глаза его были раскрыты. Шубу из ста заплат он натянул на себя до самого горла.

— Бедный Кеминэ, — заголосили женщины, — ты вернулся таким же нищим, как и ушел.

Кеминэ скосил глаза на шубу и возразил:

— А вы остались такими же слепыми, как и были. Разве вы не видите этой обновки?

И он указал на заплату, какую ему пришила Халли в тот вечер, когда он спел ей:

Свела меня судьба с такой любимой,
Которая слезам любви не верит...

Женщины увидели его руки и удивились, какие они желтые и худые.

— Да ты совсем больной, — сказала одна.

— Я сейчас принесу молока и мягкого хлеба, — сказала другая.

— Муж мой видел твоих сыновей, они тоже собирались на той к Шукур-Арыку, — сказала третья.

— Мы думали, ты совсем умер, — сказала четвертая.

Но тут ее быстро перебила пятая:

— Приезжал один текэ. Он молодой и безусый...

Ей не терпелось рассказать про красивого всадника, который примчался в аул на взмыленном коне и, плача, сказал, будто Кеминэ убили колтоманы, а тело его разорвали шакалы. Всадник не рассказал больше ничего, он спросил, где сыновья старика, и опять погнал коня. Но ведь и у других было чем поделиться со старым шахиром. Они кричали все зараз, перебивая друг друга и мешая одна другой.

Это всегда было так. Набьются в шатер к Кеминэ стряпухи и болтуны и такой крик поднимут! Шатер невелик. Шахир лежит или сидит на кошке, ноги его высунулись во входное отверстие, а женщины расселись на песке. Одну побил муж, и она, плача, показывает густой синяк под левой грудью. Другую обидела свекровь. Третьей житья нет от новой жены мужа. Кеминэ улыбался и рассказывал женщинам, что видел и чего не видел никогда в жизни. Под его небылицы избитые переставали плакать, опять начинали надеяться на лучшую долю и просили:

— А теперь спой нам песню про жестокую Огульбек.

И Кеминэ садился на кошму и начинал петь:

В степи тюльпаном расцвела,
На небе месяцем всплыла
Ты, повелительница звезд,
Цветов царица, Огульбек...

Больной шахир пел, и каждая женщина начинала думать, что это она царица цветов и повелительница

звезд. «Ах, если бы он был моим мужем! — думала каждая. — Он бы не стал меня бить и складывал бы для меня свои песни».

Цветы степей, пески пустынь
Полны блаженства, если ты
По ним ступаешь. Что цветы!
Ты на мои глаза ступи,
Цветов царица, Огуль-бек...

Под старость часто видишь сны.
А молодость, как дни весны,
Быстра, легка — и нет ее.
Вот что запомни, Огуль-бек.

Когда Кеминэ пел, каждая женщина вспоминала молодость и думала, что молодость, конечно, быстра, но не так уж легка.

И когда Кеминэ кончал одну песню, прежде чем просить о другой, какая-нибудь из женщин обязательно говорила:

— Погоди немножко, Кеминэ. Я сбегая в кибитку и принесу кусок овчины. Твоя шуба совсем разлезлась, надо ее починить.

То же самое сказала и красавица Халли, когда Кеминэ спел про любимую, которая не хочет верить поэту. Женщины всегда любили Кеминэ и делали для него все, что было в их слабых силах.

Вот и теперь. Они увидели, какой он стал худой и желтый, притащили хлеба и молока, укрыли его ноги и подогрели для него шурпу.

Солнце уже снова взобралось на самую верхушку неба. Стало жарко. Кеминэ поел и почувствовал, как силы к нему возвращаются. Он скинул шубу и сидел, как и прежде, посреди шатра на кошме и с улыбкой смотрел на женщин, хлопотавших вокруг. Всю жизнь он бродил из аула в аул и складывал песни о красавицах и плакал, если какая-нибудь насмешница смеялась над его любовью, и даже таскался в Хиву, чтоб взглянуть еще раз на пленницу сердара Клыча; всю-то жизнь он не находил покоя, а когда пришло ему время умирать, женщины сами пришли к нему и хлопочут, словно он им жених. Да ведь если бы только он мог,

он бы всех их взял себе в кибитку, всех бы, всех бедных красавиц этой бедной земли! Он не бил бы их, как бьют мужья, он не заставлял бы их ткать ковры с утра до ночи, не гонял бы за дровами в пески. Сам бы делал все. Только смотреть им в глаза, гладить их волосы и чувствовать биение их бедных сердец.

Кеминэ хотел приподняться, чтобы положить руки на плечи той, которая была к нему ближе других. Но силы совсем оставили его тело. Он только всплеснул руками и опять лег.

— Совсем ты стал больной и старый, Кеминэ, — сказала одна женщина.

— Надо позвать табиба, — сказала другая, — он даст тебе настоя из трав, и завтра ты будешь здоров.

— И споешь нам новую песню, — сказала третья, вздохнув.

— А тело у тебя все в синяках, — сказала четвертая, увидев грудь больного шахира.

Кеминэ вздохнул и сказал с улыбкой:

— Если по заплатам считать женщин, которые меня любили, то по синякам можно сосчитать мужчин, которых не любил я.

И он стал смеяться и кашлять. И кашлял так долго, что женщины вышли из кибитки и, качая головами, говорили друг другу с плачем:

— Он умрет, и никто не будет веселить нас и не споет нам песен про нашу молодость.

Кеминэ кашлял долго, потом вдруг умолк, как осел, который кричит и кричит всю ночь, а потом замолкает, и тишина опускается на землю.

— Уж не умер ли он? — сказала та женщина, которую он хотел обнять, и заглянула в шатер.

Кеминэ сидел на кошме и, улыбаясь, манил ее пальцем.

— Что ж, негодницы, — сказал он, смеясь, — или вы не слышали, чему учит нас мулла? Он говорит: кто много даст, тот много и получит. Вы принесли мне и молока и хлеба, так получайте за все разом.

И, забыв про смерть, которая уже заглядывала

к нему в кибитку, Кеминэ приподнялся и прочитал песню, какую успел сложить, пока кашель разрывал ему грудь:

С добром в руках ко мне пришли.
С добром вернетесь в дом, невесты.
Из всех богатств родной земли
Хотел бы взять лишь вас, невесты.

В кибитке белой жирный бай
Целует вас, но если чай
Остыл в кувшине невзначай,
Он и ударит вас, невесты.

У ваших баев голос груб,
Ах, каждый бай и зол, и глуп.
Не ценит он ни этих губ,
Ни этих белых рук, невесты.

Луну закрыли облака.
Когда вы здесь, болезнь легка.
Пусть ваша нежная рука
Отгонит смерть, мои невесты.

Смерть погрозила пальцем мне.
Но разве болен Кеминэ?
Еще он на лихом коне
Вас увезет с собой, невесты. . .

Он прочел эту песню твердым голосом, и женщины подумали: «Он переживет всех нас, живучий старик Кеминэ! Еще много мы услышим от него хороших песен».

Кеминэ не успел прочесть последней строки, как в степи раздался шум. Заржали кони, залаяли собаки, закричал кто-то испуганным голосом: «Кеминэ, Кеминэ!» — и тень от всадника пробежала по желтому лбу старика, метнулась на кошму и пропала в пустоте входного отверстия.

— Это вернулись мужья, — сказала одна женщина.

— Или этот безусый текинец разыскал сыновей Кеминэ, — сказала другая.

— Молодые муллы небось думают, что Кеминэ уже мертв, — заговорили женщины и, оставив старика, убежали в степь.

Это действительно были сыновья Кеминэ. Халли разыскала их в степи, когда они подъезжали к колодцу Даудыр. Молодые муллы сидели на ослах, и длинные ноги их волочились по земле, как палки, оставляя пыльный след. А Халли ехала следом.

— Кеминэ жив! — успели крикнуть женщины и кинулись по своим кибиткам.

Со стороны холмов показались мужья, возвращавшиеся с пастбища, и стряпухам надо было успеть вскипятить воду и нарезать мясо, прежде чем Токлы-яшеноки начнут свою обычную денную брань.

Сыновья Кеминэ, путаясь в длинных халатах, вбежали в шатер к отцу, а Халли, услышав, что Кеминэ жив, осталась стоять на степи и со слезами радости слушала все, что говорил живой Кеминэ.

7

Сыновья как вошли, так сразу поняли, что отец умирает.

Больной лежал на кошме без движения и даже не видел Халли, которая заглядывала в шатер. Для Кеминэ почти уж ничего не осталось в жизни. Он лежал недвижно и, улыбаясь, считал заплаты на своей шубе. Молодые муллы заплакали и склонились к ногам отца. Вот сейчас он соберет последние силы и прошепчет им свое последнее желание.

Так делает всякий человек, когда умирает. Всякий туркмен. Но только не Кеминэ. Шахир поднял свои ладони, на которые падали слезы сыновей, и покачал головой.

— В первый раз, — сказал он с удивлением, — вижу таких мулл, которые плачут, когда человек умирает.

И он перевел глаза на входное отверстие, но папах Халли застила солнце. Сыновья догадались, что отец хочет взглянуть последний раз на синее небо, и дали знак безумому туркмену, чтобы он отодвинулся. Упрямица Халли покорно выполнила их просьбу, и сыновья заплакали еще громче.

— Да чего вы плачете?— спросил Кеминэ. — Может быть, вы потеряли свои молитвенники?

— Отец, — с укором ответил старший сын, — как же нам не плакать? Ведь ты умираешь.

— А от смерти это помогает? — живо спросил Кеминэ. — Никогда не слыхал. Ну, да ведь на то вы и ученые, чтобы все знать. Давайте попробуем ваше лекарство.

И он сделал вид, что тоже хочет плакать. Насмешник Кеминэ! Когда к нему приходила любовь, он плакал и целовал осла в губы, а теперь сама смерть заглянула в кибитку, и он не смог выжать из глаз ни одной слезинки.

— Нет, нет, — сказал он сейчас же, — вы опять что-то напутали. Плачут, когда теряют добро. А я что теряю?

При этих словах Халли не могла удержаться и тоже стала громко рыдать и рвать на себе одежды. Услыхав ее плач, Кеминэ, который почти совсем уже умер, снова открыл глаза и улыбнулся.

— Никогда никто не плакал, когда видел Кеминэ. Но многие плачут при виде муллы. А вас тут целых двое. Отойдите, чтобы не причинять огорчение этому молодому красивому джигиту.

Муллы вышли из шатра. Халли перестала плакать, оправила на себе шелковый халат Еген-Ораза, вбежала в кибитку и нагнулась над мертвым Кеминэ.

Вот так и встретились они снова — насмешница Халли и бедняк шахир Кеминэ.

Да, вот так и умер Кеминэ.

8

Халли не стала долго задерживаться у могилы Кеминэ. Она села на коня и погнала его в степь, как будто она думала, что если можно вернуться по старой дороге в аул, где шел той, то можно вернуться и ко вчерашнему дню, когда еще Кеминэ был живой.

Она вскочила на коня и стегала его камчой до тех

пор, пока кибитки Шукур-Арыка не зачернелись на вечернем небе.

Шел уже третий день тоя. Ну и что же, что третий? У хорошего хозяина и все шесть дней пройдут, пока наконец гости станут седлать коней, чтоб вернуться к родным очагам.

Да многие и вернулись. Ушел в свою кибитку Тауши-Мергень, разъехались борцы и наездники, и только бахши сидели на большом ковре и выходили один за другим на середину круга, чтобы спеть песню и заслужить серебряное украшение для коня — аялгаш.

Когда Халли добралась до аула, в состязания вступил Кары-Оглан. Молла Непес положил на колени дутару, а Кары-Оглан опустил на корточки и запел песню, сложенную Непесом:

В сад густой явилась Роза. Меж цветов бродила Роза.

Купы роз обозревая, всех красой затмила Роза.

Я сказал: — О боже! Роза в изумленье вводит розы!

Соловья своей красой ты убить решила, Роза? ..

Кары-Оглан пел, и едва можно было уследить за словами, которые встречались и разбегались, как искры костра на ночном ветру. Да это и не были человеческие слова. Это было мелькание цветных мотыльков или звездный дождь...

Кары-Оглан пел:

Засмеялась, став прекрасней. Вместе с розами блистая,

Соловья маня со смехом, распустила косы Роза.

Роз цветенье краше света, но ничто пред Розой этой.

Соловья, певца лесного, погубить решила Роза.

Розу розой называя, мы лишь бедность слов познали,

Нету слов для всхваленья; нас ума лишила Роза.

Я, садовник, честный малый, соловья безумным видел,

Лил он слезы, причитая: — Ты меня убила, Роза...

Песня была длинная. Это была самая знаменитая из всех песен моллы Непеса, и когда Кары-Оглан кончил, слушатели закричали, что никогда никто не пел так хорошо песни, слова которой подобны китайской чашке с разноцветными птицами и драконами.

— Эти слова как цветы на ковре, — сказал Шукур-Арык, — или как узоры на тюбетейке хивинского хана. У них ни начала, ни конца. И поэтому нет драгоценнее их в жизни. Нужно быть великим искусником не только для того, чтобы петь, но и чтобы понять их.

И он принес тяжелое аял-гаш и положил его на ковер рядом с Кары-Огланом.

Но тогда поднялся Кер-Коджали. Он запел навои, слова которой были очень просты и никак не могли сравняться с песней моллы Непеса. Но когда Кер-Коджали кончил, многие старики стали говорить, что аял-гаш по праву принадлежит Коджали. Он пел, даже не открывая рта, и звук песни выходил у него в ту щелку, которая образуется в углах губ, когда губы плотно сжаты. Это было искусство хемлемек, и не было другого певца, который мог бы петь, не разжимая рта, как Коджали.

Но и молла Непес не захотел уступить своей победы. Он шепнул Кары-Оглану два слова, и мальчик запел опять. Это была та же песня, что и первый раз, но только Кары-Оглан делал теперь секдирмак: он то ронял голос до самого пола, то подхватывал его на лету и вскидывал вверх, и это пение было так неправдоподобно, что оно уже и не походило на пение человека. Так свистит камыш или так стонет раненая птица. Кары-Оглан пел долго, и когда кончил, Коджали сам отодвинул от себя серебряную сетку.

Шукур-Арык снова подвинул аял-гаш к Непесу. Но ты зря поторопился, Шукур-Арык. Ведь здесь еще сидит Ораз-Мети, соперник жаворонков. Он тихими шагами вступил в круг, подождал, когда угаснет тишина, вызванная песней смуглого мальчика, и поднял голову.

Ему не нужно было никаких слов — ни простых, ни искусных.

Он тянул только один звук: «И-и-и». Но он столько имел украшений для этого простого звука, что показалось: это сразу сто певцов поют каждый про свое, и ни одна песня не мешает другой; они, как стая птиц,

несутся под небесами; и у каждой птицы свои перья: у одной красные, у другой зеленые, у третьей, как у попугая, одна половина синяя, другая желтая, а летят они все в одну сторону.

Ораз-Мети кончил, и тогда уже молла Непес отодвинул от себя аял-гаш.

— Хивинцы называют нас бедняками и степными дикарями, — сказал он. — И верно, у нас нет ни такой посуды, ни таких халатов, как у них, ни домов с резными потолками. Но бахши, подобных Ораз-Мети, не имеет ни один народ. Кары-Оглан, помоги великому искуснику положить на свою лошадь это украшение. Нет ему соперника среди всех туркмен, живых или мертвых.

В эту минуту в кибитку вошла Халли.

— Подожди, мальчик, — сказала она хриплым голосом, прикидываясь мужчиной, — состязание не кончилось, и я достаточно силен, чтобы донести эти побрякушки до своей лошади. — И, не смахнув слез, которые обильно текли из ее глаз, она взглянула на блестящий халат моллы Непеса, посмотрела на старого Кара-Юсупа, который один из всех Токлы-яшеноков пожаловал на свадьбу и сидел насупленный и строгий, как в своей кибитке сиживал Еген-Ораз; оглянулась на чопанов, которые теснились у входа, и запела так же просто, как пела у себя в кибитке или как пела в тот день, когда отец продал ее баю, а молодой Шукур-Арык шел следом за верблюдом и играл на тюйдуке:

«Бай-ага...» — прошу, а просьба воска белого нежней.
Вот я стал ступенью баев, стал песчинкой среди полей.
Скажешь баю: «Дай мне плату», — дрогнет брюхом у дверей.
Блудник подл, и подл воришка. Только бай наш всех подлей.
Все уйдут, один как прежде всеми брошенный бедняк.

Она пела и, забыв, что она мужчина, а не женщина, ударяла себя пальцами по горлу, как это делают женщины, когда не хватает слов, чтобы выразить охватившее их отчаяние или тоску. Она пела, вспоминая Кеминэ, который умер на дырявой черной кошме под рваной шубой, а она не отблагодарила его ничем за

все, что он дал ей. Она пела так же просто и понятно, как просты и понятны слова песни, сложенной Кеминэ, как просто было сердце Кеминэ и как просты страсть ненависти и страсть любви.

По дворам с начала года ходит он просить зерно.
Друг его — чилим из глины, с ним огниво заодно.
Табакот чадить от горя у него заведено.
А захочет молвить слово — слов не хватит все равно.
Все уйдут, один на месте всеми брошенный бедняк.

Халли пела, когда Кара-Юсуп встал и, дрогнув брюхом, протискался из кибитки, а Шукур-Арык с тревогой стал вглядываться в черты безусого лица молодого бахши, точно что-то вспоминая.

Поживиться ищут баи. Нищий голодом томим.
Он в реке утонет — лодку не пошлет никто за ним.
У него жену отнимут, лишь останется чилим.
Кеминэ я. С голодухи все внутри — огонь и дым.
Все ушли; один в могиле сгнивший заживо бедняк.

Халли пела, и тоска разрывала сердце собравшихся чопанов и бедняков. Они громко рыдали и били себя в грудь, вспоминая каждый о той боли, какая одна у всех бедных людей — иомуды они или текинцы, спят ли они в кибитке или сидят в седле, говорят ли по-туркменски, или узбекски, или, может быть, на языке урсов. Лишь те, чьи халаты из хивинского шелка блестели, как весенний дождь, один за другим покидали кибитку, вспомнив, что дома их ждут дела, а Ораз-Мети все равно не споеет лучше того, как спел.

Оставшиеся в кибитке утирали слезы, но вот Халли пропела строку, в которой говорится, что эту песню сложил Кеминэ, и гости улыбнулись.

Только хозяин Шукур-Арык не улыбался. Он вспомнил все и сидел, закрыв глаза, потом, не глядя на Халли, поднялся и тихо пошел к своей белой кибитке, где его ждала молодая жена.

Кер-Коджали, молла Непес и Ораз-Мети дослушали песню и тоже оставили кибитку. И они уже сидели на своих конях и были далеко от аула, когда

Халли перестала плакать и увидела серебряные нитки аял-гаша, которые лежали у ее ног.

Так снова стал живым среди своего народа великий шахир Кеминэ.

9

А вскоре покати́лась слава по всем пескам, что Кеминэ умер, но объявился новый бахши — женщина, лучше которой никто не поет песен, сложенных старым шахиром.

1936. Истра

1954. Москва



ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ	7
КНИГА ВТОРАЯ	46
КНИГА ТРЕТЬЯ	98
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ	147
КНИГА ПОСЛЕДНЯЯ	192

СКОСЫРЕВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ
ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУГА

Редактор *В. П. Солнцева*

Художник *Б. А. Месропян*

Худож. редактор *В. И. Морозов*

Техн. редактор *С. И. Брусиловская*

Корректор *Е. И. Краснюк*

Сдано в набор 26/1 1955 г. Подписано
к печати 16/V 1955 г. А 02276. Бум.та
 $84 \times 108 \frac{1}{2}$. Печ. л. $13 \frac{3}{4}$ (11,27). Уч.-изд.
л. 10,10. Тираж 75 000. Цена 4 р.
Заказ № 127.

Издательство «Советский писатель»
Москва, К-104, Б. Гнезниковский
пер., 10.

Типография № 3 Управления культуры
Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., 1/3.